

Эллен Руттен

Искренность
после коммунизма
культурная история



Эллен Руттен

**Искренность после коммунизма:
культурная история**

«НЛО»

Руттен Э.

Искренность после коммунизма: культурная история /
Э. Руттен — «НЛО»,

Новая искренность стала глобальным культурным феноменом вскоре после краха коммунистической системы. Ее влияние ощущается в литературе и журналистике, искусстве и дизайне, моде и кино, рекламе и архитектуре. В своей книге историк культуры Элен Руттен прослеживает, как зарождается и проникает в общественную жизнь новая риторика прямого социального высказывания с характерным для нее сложным сочетанием предельной честности и иронической словесной игры. Анализируя этот мощный тренд, берущий истоки в позднесоветской России, автор поднимает важную тему трансформации идентичности в посткоммунистическом, постмодернистском и постдигитальном мире. Она также стремится ответить на вопрос, как и почему уникальная российская художественная и социальная рефлексия сформировалась под влиянием коллективной памяти, коммодификации и медиализации культуры, как дебаты о новой искренности в постсоветском русскоязычном пространстве слились со всеобщим призывом к «возрождению искренности». Работая на пересечении истории эмоций, теории массовых коммуникаций и постсоветских исследований, автор по-новому осмысляет современную культурную реальность, оказывающую глубокое воздействие на творческую мысль, художественную активность и образ жизни практически по всему миру. Элен Руттен – профессор, глава департамента русистики и славистики Амстердамского университета.

© Руттен Э.

© НЛО

Содержание

| | |
|---|----|
| ПОЛИТИКА И ПРИВИЛЕГИИ ИСКРЕННОСТИ | 6 |
| ПЕРЕРОЖДЕНИЯ ИСКРЕННОСТИ | 8 |
| ПОЛИТИКА ИСКРЕННОСТИ | 12 |
| ПРИВИЛЕГИИ ИСКРЕННОСТИ | 14 |
| БЛАГОДАРНОСТИ | 16 |
| ВВЕДЕНИЕ. ИСКРЕННОСТЬ, ПАМЯТЬ, МАРКЕТИНГ, МЕДИА | 17 |
| АКЦЕНТ НА ИСКРЕННОСТИ | 19 |
| НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ: РАБОЧЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ | 24 |
| НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ: МОЙ ПОДХОД | 31 |
| ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ИСКРЕННОСТЬ: ИСКРЕННОСТЬ И ПАМЯТЬ | 33 |
| ИСКРЕННОСТЬ И РАСЧЕТ: «Я» КАК ТОВАР | 36 |
| ИСКРЕННОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ В (ПОСТ)ДИГИТАЛЬНОМ МИРЕ | 39 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКРЕННОСТИ | 41 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКРЕННОСТИ: ПОСТСОВЕТСКИЙ АНАЛИЗ | 45 |
| NEW SINCERITY – НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ: ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД | 49 |
| В ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 51 |
| ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ | 53 |
| ИСКРЕННОСТЬ ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО РАННЕЙ МОДЕРНОСТИ | 55 |
| РОССИЯ: ДЕРЗНОВЕНИЕ И ИСКРЕННОСТЬ | 59 |
| XVIII ВЕК: ОПАСНЫЙ ЯЗЫК СЕРДЦА | 62 |
| РУССКИЙ СЕНТИМЕНТАЛИЗМ: ИСКРЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ ЦАРЯ | 64 |
| ДОЛГИЙ XIX ВЕК: НОВЫЕ СМЫСЛЫ ИСКРЕННОСТИ | 67 |
| ДОЛГИЙ XIX ВЕК: РОССИЯ | 70 |
| ЕВРОПА НАЧАЛА XX ВЕКА: «ЧТО ЕСТЬ ИСКРЕННОСТЬ?» | 77 |
| ПОСЛЕ ВОЙНЫ: ДИСКОМФОРТ, ДЕКОНСТРУКЦИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ | 84 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 85 |

Эллен Руттен

Искренность после коммунизма. Культурная история

ПОЛИТИКА И ПРИВИЛЕГИИ ИСКРЕННОСТИ ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Задрапа «новая искренность».

Все эти прыщавые блогеры, сиястые влогеры, вымороженные гречки-монеточки, корявые фотографии, лайк-петроглифы, которыми щеголяют в своих постах даже уважаемые люди, хайповжоры всех мастей, модные предприниматели без единого достижения за душой, коучево племя, скрипящие ютуберы и просто достойные люди, которые теряются в этом мутном потоке и выглядят такими же мудаками, как и все.

15–20 лет назад я писал стихи, и критики справедливо причисляли меня к предвестникам этой самой «новой искренности». Но я не предполагал, что она окажется настолько лицемерной и вместе с ней на нас выльется все дерьмо этого мира.

Давайте уже обратно постмодернизм. Ну, или нормальную искренность, старую.

Дмитрий Соколов-Митрич¹

У людей (во время коронакризиса. – Э. Р.) как будто бы появилось некое представление о новой искренности, потому что вдруг стало абсолютно возможно попасть домой ко всем людям. Кажется, что вся эта глянцевоcть наших виртуальных аватаров в соцсетях улетучилась, растворилась в воздухе. Мы долго создавали идеальные образы себя, а тут мы каждый день общаемся без макияжа, без идеального интерьера квартир, и для всех это стало новой нормой.

Михаил Шишкин²

Предисловие к русскому изданию этой книги я пишу весной 2020 года в импровизированном домашнем офисе в Амстердаме во время коронакарантина. Интересно, спросила я себя, а не является ли кризис COVID-19 поводом для обновления тех разговоров о перерождении искренности, которые я анализирую в этой книге? Оказалось, является. Онлайн-поиск явно показал, что пандемия послужила предлогом для нового этапа дискуссий о «правдивости» и «выражении подлинных чувств», как Ожегов определяет значение слова «искренность»³. В этом отношении коронакризис не уникален. Он – последний и особенно радикальный пример целого ряда социальных потрясений, которые породили новые разговоры о старом вопросе «Согласуются ли наши чувства со словами?».

¹ Соколов-Митрич Д. Задрапа «новая искренность» // smitrich.livejournal.com. 2018. 22 июля (<https://smitrich.livejournal.com/2213732.html>).

² Комментарий к онлайн-бару *Stay the Fuck Home*, 11 апреля 2020. Цит. по: Коршенико М. «Новая искренность»: как социальная культура меняется в условиях карантина // BBC Русская служба. 2020. 11 апреля (<https://www.bbc.com/russian/features-52181080>).

³ Ожегов С. И., Шведов Н. Ю. Толковый словарь Ожегова. 1949–1992 (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/75774>).

Как относится риторика искренности к социальным потрясениям? Этот вопрос я подробно рассматриваю в данной книге. В этом предисловии я ставлю себе две цели. Первая: объяснить, почему я считаю, что глобальные и российские дискурсы об искренности заслуживают того пристального внимания, которое я на них обращаю. Как я покажу в дальнейшем, они прочно занимают внимание широкой аудитории – включая тех, кого лично не затрагивает или даже, как писателя Дмитрия Соколова-Митрича, «задрала новая искренность»⁴. Вторая цель: переосмыслить выводы об «искренности после коммунизма», которые я сделала в первом, английском издании этой книги. В каких случаях эти выводы актуальны и сегодня, а где они требуют дополнения в свете недавних событий?

Добавлю две оговорки. Первая – об источниках, на которых анализы основываются. К середине 2010-х годов, когда я закончила рукопись книги, то ли еще не вышел, то ли до меня не дошел ряд важных публикаций о главных темах и фигурах, встречающихся в этой книге. Среди этих работ: монография Наталии Рудаковой «Losing Pravda», анализирующая медиа и этические установки в современной России⁵; «Post-Soviet Jihadism» – диссертация, в которой историк Данис Гараев прослеживает «стремление к искренности, правдивости... и вере», распространенное среди постсоветских джихадистов и восходящее к интуициям московских концептуалистов и российских адептов «новой искренности» (таким образом открывается важный разговор об искренности и религии, который в данной книге только мерцает)⁶; и богатое собрание новых исследований творчества Дмитрия Пригова и Владимира Сорокина – двух ключевых имен в моем описании современной литературы⁷. Опасаясь, что напишу новую книгу, я выдержала соблазн интегрировать их выводы в данном издании – но для более полного понимания «искренности после коммунизма» обращение к этим исследованиям все же необходимо.

Вторая оговорка: я отхожу от традиционного подхода к культурным трендам, который учит нас, что те или иные тенденции мигрируют из «просвещенного» Запада в «менее развитую» Россию, обращаясь к транснациональному подходу⁸. Подобный подход означает, что я обсуждаю русскоязычные дискуссии об искренности не как исключительно национальные или локальные ответы на уже существующий западный дискурс. Как я попытаюсь показать, эти дискуссии – одновременно часть глобальных, национальных и региональных дебатов об искренности. Они одновременно влияют и отвечают на эти дебаты.

⁴ Там же.

⁵ Roudakova N. *Losing Pravda: Ethics and the Press in Post-Truth Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

⁶ Garaev D. *Post-Soviet Jihadism*. Dissertation. University of Amsterdam, 2018.

⁷ См. особенно: Деготь Е. Дмитрий Александрович Пригов. М.: Ад Маргинем, 2014; Добренко Е., Калинин И., Литовецкий М. (ред.) «Это просто буквы на бумаге...» Владимир Сорокин: после литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2018; Пригов и концептуализм / Сборник статей и материалов. М.: Новое литературное обозрение, 2014; Ямольский М. Пригов: Очерки художественного номинализма. М.: Новое литературное обозрение, 2015.

⁸ Защитники транснационального подхода утверждают, что язык, культура и национальная идентичность не совпадают (человек, который говорит на русском, скажем, не обязательно владелец российского паспорта), но что «язык и культура должны рассматриваться как потоки осмысления, проходящие поверх границ» – Byford A., Doak C., Hutchings S. (eds) *Transnational Russian Studies*. Liverpool: Liverpool University Press, 2020. P. 6.

ПЕРЕРОЖДЕНИЯ ИСКРЕННОСТИ

Начнем с первой цели – а точнее, с вопроса: почему мы должны изучать российские и глобальные дискурсы о новой искренности?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала вернусь к публичной дискуссии о COVID-19. Коронакризис актуализирует запрос на правительство, руководствующееся искренними побуждениями, как 11 апреля 2020 года заявил американский политик и бывший директор ФБР Джеймс Коми. «Аутентичность, честность и... оптимизм – вот необходимые компоненты лидерства во время кризиса»⁹. В комментарии, в котором явно присутствует издевка над Трампом, он продолжал: «Искренность – в отличие от приукрашивания ситуации – позволяет людям немного расслабиться, зная, что лидер всегда скажет, что им нужно знать и когда им нужно это знать. Это позволяет людям переложить часть своего эмоционального бремени на плечи лидера, давая им шанс найти некоторую устойчивость в шторме»¹⁰.

Коми, другими словами, в коронакризисе увидел стимул для возрождения классических лидерских качеств: искренности и аутентичности. В другом контексте журналистка Мария Корниенко в нем увидела иную «новую искренность» и толчок к новым проявлениям «социальной жизни»¹¹. В тот же день, 11 апреля 2020 года, для Русской службы Би-би-си Корниенко составила обзор онлайн-вечеринок, диджей-сетов, тренингов и других «новых форм совместного досуга»¹². В качестве особенно популярной онлайн-инициативы она описала *Stay the Fuck Home* – виртуальное кафе, которое к этому времени выросло в целую «барную улицу» из четырнадцати оживленных онлайн-заведений. Сооснователь проекта Михаил Шишкин объяснил популярность бара жаждой «новой», отчетливо неглянцевого онлайн-«искренности»¹³: в баре, по его словам, общение происходит «без макияжа, без идеального интерьера квартир», что для всех посетителей «стало новой нормой».

В том же обзоре специалист по коммуникации Оля Полищук подтвердила мнение Шишкина. С ее точки зрения, в период карантина сформировались более крепкие социальные связи, и доступ к пространству, который предоставляют онлайн-встречи, одновременно добавлял человечности и тревоги к общению: дом – ведь это «интимное пространство»¹⁴.

В том, что в онлайн-барах мы и вправду перестаем волноваться о внешности, я сомневаюсь, но мнения Шишкина, Полищук и – на другом конце мира – Коми меня интересуют не как последняя истина о пандемиях и искреннем самовыражении. Я их анализирую не с целью утверждать, что сегодня искренность *на самом деле* принимает новые формы, так и не с целью дать *свое жестко фиксированное определение* «новой искренности». Их комментарии меня интересуют по другой причине. Я изучаю их как показатели более широкого социального и дискурсивного тренда, который я наблюдала все те 10 с лишком лет, что я профессионально изучала риторику искренности. Этот тренд можно обозначить так: когда за последние десятилетия возникали (как крупные, так и более скромные) социальные сдвиги, за ними неизменно

⁹ *Comey J.* We Know What Good Leadership in a Crisis Looks Like. This Isn't It // Washington Post. 2020. April 11 (<https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/11/james-comey-people-crave-leadership-when-they-are-afraid-they-arent-getting-it/>). Русский перевод см.: *Коми Д.* Коронавирус актуализирует запрос на искренность // Актуальные комментарии. 2020. 14 апреля (<http://actualcomment.ru/koronavirus-aktualiziruet-zapros-na-iskrennost-2004141027.html>).

¹⁰ *Ibid.* В русском переводе используется слово «искренность», в английском оригинале Коми говорит о *candor* – слово, которое на русском также переводится как «откровенность» и «прямота».

¹¹ *Корниенко М.* «Новая искренность».

¹² Там же.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

следовали дискуссии о новых формах искренности, якобы родившихся в результате данного сдвига.

Голландские историки культуры Эрнст ван Альфен и Мике Бал верят, что данная тенденция имеет довольно старые корни. По их словам, начиная с эпохи раннего модерна понятие искренности всегда выходит на первый план «во времена межкультурных противоречий и конфликтов»¹⁵. Мои кейсы показывают, что интерес к искренности расцветает не только в периоды межкультурных столкновений, но также во времена внутрикультурных смут. Помимо этого они показывают, что сегодня этот интерес – это интерес не просто к искреннему поведению, а именно к *новой* или *возрожденной* искренности. Искренность сегодня – диалектическое понятие¹⁶. Для одних критиков и мыслителей ее нельзя понять вне контекста постмодернизма (парадигму, на которую с энтузиазмом откликнулись прежде всего ранние глашатаи «новой искренности»); для других она немислима вне той «старой», «нормальной» (говоря словами Соколова-Митрича¹⁷) искренности, которая стала ключевым культурным концептом в эпоху ранней модерности¹⁸.

Материал, который я исследую в своей книге, хорошо показывают и эту диалектичность, и взаимосвязь между риторикой искренности и социальными сдвигами. На основе анализа дискуссий о литературе, кино, искусстве и, отчасти, музыке, моде, дизайне, телевидении и онлайн-медиа я показываю, как между 1980-ми и серединой 2010-х годов русскоязычные дискуссии о новой искренности проходят три фазы. Между серединой 1980-х и поздними 1990-ми годами разворачивается первая фаза, реагирующая прежде всего на распад Советского Союза. В поздние 1990-е и 2000-е годы наступает время второй фазы, тесно связанной с развитием постсоветской рыночной экономики. Наконец, в третьей фазе – начиная с середины 2000-х до середины 2010-х годов – разговоры о возрождении искренности часто представляют собой ответ на дигитализацию социальной коммуникации. За каждой из этих трех фаз за социальными сдвигами следуют дискуссии о возрожденной или новой искренности и, соответственно, о социальной травме (как ответ на распад СССР в творчестве Дмитрия Пригова и концептуалистов), коммодификации (как ответ на рыночные реформы в дискуссиях о Владимире Сорокине и таких художниках, как Олег Кулик) и медиа (как ответ на развитие цифровых медиа в блогах о (поп-)культуре и политике). И в каждой фазе эти дебаты отчасти пересекаются со спорами о «новой искренности», идущими в США и других регионах мира.

В своей книге я изучаю период, заканчивающийся примерно в середине 2010-х годов, – но в последние годы я наблюдала, что внимание к искренности продолжало усиливаться. В середине и второй половине 2010-х диагноз «новой искренности» снова стал набирать популярность именно в ответ на фундаментальные социальные сдвиги. Когда российские войска вторглись в Донецк в 2014 году, журналист Андрей Перцев описал как «новую искренность» новоявленный кремлевский обычай открыто поддерживать медийные манипуляции общественным мнением. «Новая искренность», по Перцеву, – это ситуация, «когда пропагандист не врет»¹⁹. Когда популярность Дональда Трампа резко возросла в преддверии выборов 2016 года, блогеры и журналисты стали связывать его предвыборную кампанию с «постирони-

¹⁵ Bal M., van Alphen E. Introduction // Bal M., Smith C., van Alphen E. (eds) *The Rhetoric of Sincerity*. Stanford: Stanford University Press, 2009. P. 1.

¹⁶ О «новой искренности» как «диалектическом» термине см. также: Buckland W. Wes Anderson: A «Smart' Director of the New Sincerity?» // *New Review of Film and Television Studies*. 2012. № 10 (1). P. 1–5.

¹⁷ Соколов-Митрич Д. «Задрала новая искренность».

¹⁸ Об искренности как «определяющей черте западной культуры» см.: Trilling L. *Sincerity and Authenticity*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971. Кардинальную роль, которую риторика искренности сыграла в российских публичных дискурсах начиная с XVIII века, я раскрываю во второй главе своей книги.

¹⁹ Перцев А. Новая искренность: когда пропагандист не врет // Republic. 2014. 3 октября (<https://republic.ru/posts/45976>).

ческими» и «новыми искренними» тенденциями в поп-культуре²⁰. Трамп, по мнению американского журналиста Аарона Колтона, «почувствовал одержимость нашей культуры искренностью и довольно изобретательно преобразовал ее в популистское нагнетание страха»²¹. Когда в поздние 2010-е годы женщины в разных странах мира стали делиться в онлайн-пространстве пережитым ими опытом сексуального насилия, журналистка Мария Смирнова подытожила: «„Новая искренность“ в интернете... изменила нашу жизнь»²². Ее коллега Ольга Кочкина суммировала произошедшую перемену так: «В эпоху новой искренности место бравурных интервью прочно заняли истории» – то есть истории влогеров, блогеров и пользователей соцсетей²³. Тремя годами позже, как мы видели, снова было провозглашено возрождение искренности – на этот раз в ответ на мировой кризис здравоохранения.

Примеры, которые я здесь сопоставляю, показывают, что культурные критики задают вопрос о том, «что такое искренность сегодня?», в ответ на социальные изменения. Они также показывают, что разные критики дают радикально отличающиеся друг от друга ответы на этот вопрос. Не случайно можно услышать о «новой искренности» и от Соколова-Митрича, который в ней видит «лицемерный» поток «всего дерьма этого мира», и от Шишкина, который утверждает ее как благодетельное противоядие от онлайн-гламура²⁴. Не случайно о ней можно узнать и от Перцева, который применяет это понятие к политике Кремля, и от журналиста Максима Кононенко, который на сайте «Говорит Донецк» с помощью этой же конструкции критикует эоактивизм Греты Тунберг и акции протеста против расизма и сексизма²⁵.

Разнообразие определений не подрывает, а, наоборот, подчеркивает то, чем ценны современные дискуссии об искренности. Их следует изучать как можно детальнее не потому, что они скрывают непротиворечивую правду о нашем времени, и не потому, что наше время есть не что иное, как время возрождения искренности. И они заслуживают внимания не потому, что нам нужно оперативно разоблачить дискурс о «новой искренности» как ложный. Публичные размышления о дистанции между тем, что человек думает и чувствует, и тем, как он выражает себя, мне кажутся важными по другой причине. Эти дискуссии – прекрасная отправная точка для анализа того, что канадский философ Чарльз Тейлор назвал «социальное воображение» («the social imaginaries»). По словам Тейлора, «социальное воображение» обозначает «способы, которыми люди представляют свое социальное существование, как они взаимодействуют друг с другом, как складываются отношения между людьми, как возникают ожидания, которые обычно оправдываются, а также более глубокие нормативные представления и образы, лежащие в основе этих ожиданий»²⁶.

Тейлор использует теорему «социального воображения» применительно к определенному месту и времени; его анализы западной модерности нельзя переносить на российскую почву оптом. В ней отведено слишком скромное место конфликту и конкуренции – тем расколам, которые характеризуют любой социальный процесс, включая те, которые идут в совре-

²⁰ См., например: *Claydon R. Donald Trump: The Post-Ironic Leader // The Ironic Manager*. 2015. 22 декабря (<https://theironicmanager.com/blog/donald-trump-the-post-ironic-leader/>); *Colton A. Donald Trump and the «New Sincerity» Artists Have More in Common than Either Would Like to Admit // Paste*. 2016. 9 августа (<https://www.pastemagazine.com/politics/donald-trump-and-the-new-sincerity-artists-have-more/>).

²¹ *Colton R. Donald Trump and the «New Sincerity» Artists*.

²² *Смирнова М. Что такое «новая искренность» в интернете и как она изменила нашу жизнь // Стиль*. 2018. 27 июля (<https://style.rbc.ru/life/5b5997489a7947356f7d36f6>).

²³ *Кочкина О. Границы и мосты новой искренности. Культурный код поколения Z // Сигма*. 2019. 11 сентября (<https://syg.ma/@olgha-kochkina/kochkina-olgha-granitsy-i-mosty-novoi-iskriennosti-kulturnyi-kod-pokolieniia-z>).

²⁴ *Соколов-Митрич Д. «Задрала новая искренность»; М. Шишкин цит. по: Корниенко М. «Новая искренность»*.

²⁵ *Перцев А. Новая искренность; Кононенко М. Что такое это ваша новая искренность // Говорит Донецк*. 2019. 4 сентября (<https://fromdonetsk.net/chto-takoe-eta-vasha-novaya-iskrennost.html>).

²⁶ *Taylor C. Modern Social Imaginaries*. Durham, NC: Duke University Press, 2004. P. 23. О «социальном воображении» см. также: *Castoriadis C. The Imaginary Institution of Society*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987.

менной России²⁷. Но его идеи о том, как люди представляют и обсуждают свое социальное окружение – мощный инструмент для анализа соотношений экономических, публичных и нормативных социальных режимов, как институционализированных, так и менее формальных. Эти идеи, говоря словами норвежского слависта Коре Йоханн Мёр, помогают понять, «что именно важно для общества»²⁸.

Что важно для общества – можно отчетливо увидеть каждый раз, когда общественный сдвиг встряхивает существующие социальные отношения, ожидания и ценности. Среди них вопрос «Соотносятся ли намерения людей с их словами?» занимает центральное место. Историки показали, что, скажем, в эпоху Ренессанса дискуссии об искренности отражали тогдашние реакции на изобретение печати и рост городов²⁹ и что в XIX веке за «культом искренности» стояла обеспокоенность индустриализацией и растущей мобильностью³⁰. В моей книге показано, что в позднем XX и раннем XXI веке русскоязычные дебаты об искренности помогают лучше понять реакции на распад СССР, коммодификацию и дигитализацию. И, наконец, на рубеже 2010-х и 2020-х годов за вопросом «Что означает искренность здесь и сейчас?» стоит рефлексия о политической пропаганде, мировой пандемии и о том, насколько дигитализация способствует дебатам о социальном и гендерном неравенстве.

Наблюдая дискуссии об искренности, можно понять, что именно важно для общества сегодня, – и я рада, что мой анализ этого ключевого сюжета станет известен русскоязычному читателю. Русский перевод моей книги радует меня и по другой причине: он позволяет мне переосмыслить выводы первого издания книги. Пересматривая эти выводы на рубеже 2020-х годов, я спросила себя: актуальны ли все выводы первого издания сегодня или они требуют дополнения и пересмотра в свете недавней истории?

Главный тезис книги – дискуссии о возрождении искренности отражают реакцию на фундаментальные социальные сдвиги – остается в силе и сегодня. Дискурс о «новой искренности» последних пяти лет не заставил меня отказаться от мысли о том, что дебаты об искренности и социальные перемены соотносятся друг с другом. Как именно они соотносятся – это вопрос, сегодня требующий дополнительного осмысления. Между серединой 2010-х и сегодняшним днем возникли новые вопросы о соотношении социальных перемен и рефлексии об искреннем поведении – вопросы, о которых я пока мало говорю в своей книге. Здесь я лишь коротко коснусь тех двух недоотвеченных вопросов, которые мне кажутся наиболее важными.

²⁷ О подобных проблемах с теоретическим языком публичности и публичных сфер – с которыми идеи Тейлора отчасти соприкасаются – и о феминистской и постколониальной критике гегемонии этого языка см.: *Вайзер Т. Идея сборника // Вайзер Т., Атнашев Т., Велижев М. Несовершенная публичная сфера: история режимов публичности в России. М.: Новое литературное обозрение, 2020.*

²⁸ *Mjør K. J. Reformulating Russia: The Cultural and Intellectual Historiography of Russian First-Wave Émigré Writers. Leiden: Brill, 2011. P. 37.*

²⁹ *Bal, Smith, Van Alphen (eds). The Rhetoric of Sincerity.*

³⁰ *Haltunen K. Confidence Men and Painted Women: A Study of Middle-Class Culture in America, 1830–1870. New Haven: Yale University Press, 1982 (см. особенно P. 34–35 о «культе искренности» в среде современного американского среднего класса).*

ПОЛИТИКА ИСКРЕННОСТИ

Первый вопрос: как соотносятся современный русскоязычный дискурс об искренности и политическая риторика? В моей книге политика отнюдь не замалчивается, но она занимает скромное место по сравнению с материалом, принадлежащим литературной и художественной сферам. После публикации книги я более подробно стала обдумывать отношения между дискурсами об искренности и политикой. В трех коротких анализах я вместе с другими специалистами предлагаю первые попытки распаковать политику искренности, характерную для современной России.

Во-первых, основываясь на работе историков и экспертов по истории «политики искренности»³¹, я обратилась к истории советской риторики «новой искренности»³². Мой анализ показал, как в советском эмоциональном режиме политику публичной искренности настойчиво насаждали сверху – и, когда нужно, силой. В советской России убедительные саморазоблачения могли спасти жизнь, а упрек в лицемерности зачастую приводил к обратному. Формальный укор в неискренности мог привести не просто к увольнению с работы или к социальной изоляции – а, как в случае Николая Бухарина, к расстрелу³³. Более глубокое понимание тогдашнего дискурса искренности необходимо не только историкам: оно также помогает лучше понять сложную взаимосвязь между нынешним языком искренности и корпоративным или политическим успехом.

Во-вторых, совместно с голландской слависткой Барбарой Роггевеен мы обратились к риторике искренности, задействованной Владимиром Путиным и Алексеем Навальным³⁴. Основываясь среди прочего на исследованиях «политической маскулинности» украинской социологини Татьяны Журженко, мы показали, что оба политика активно используют дискурс доверия и искренности³⁵. Путин применяет этот дискурс с целью укрепить дипломатические отношения и в агрессивно-популистской и подчеркнута маскулинной «борьбе с политкорректностью»³⁶. Навальный прибегает к языку искренности как к инструменту разоблачения «лицемерных» властей, напротив, используя его для укрепления собственных претензий на власть.

Третья (и последняя) публикация, в которой я рассматриваю политическую риторику искренности, – разговор о «реакционном постмодернизме» с Марком Липовецким. Последний ввел этот термин в 2018 году в специальном блоке материалов «Постмодернизм в эпоху „правых поворотов“ и популизма», опубликованном в журнале «Новое литературное обозрение»³⁷. В «реакционном постмодернизме», по словам Липовецкого, мы находим «подмену внешне похожими, но, по существу иными, если не контрастными дискурсивными составляющими, нейтрализующими критический потенциал постмодернизма». Я проследила сходный совре-

³¹ «Политика искренности» – термин Элизабет Марковиц; см.: *Markovits E. The Politics of Sincerity: Plato, Frank Speech, and Democratic Judgment. University Park, PA: Penn State University Press, 2008.* О «Святом Граале искренности» и искренности как политическом и «моральном идеале» см. также: *Magill R. J. Sincerity: How a Moral Ideal Born Five Hundred Years Ago Inspired Religious Wars, Modern Art, Hipster Chic, and the Curious Notion That We All Have Something to Say (no Matter how Dull). New York: W. W. Norton, 2012.* Исследования политической истории искренности в Советской России я подробнее обсуждаю в главе 1.

³² *Руттен Э. Советская риторика искренности // Неприкосновенный запас. 2017. № 3.*

³³ О советской политической культуре, выдвигающей искренность как «последнее мерило» приверженности партии и нравственной чистоты, также пишет Игал Халфин, на чью работу я ссылаюсь более подробно в главе 1. См.: *Halpin I. Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial. Cambridge, 2003. P. 271.*

³⁴ *Роггевеен Б., Руттен Э. Риторика искренности в сегодняшней России // Неприкосновенный запас. 2020. № 4 (132).*

³⁵ *Zhurzhenko T. The Importance of Being Earnest: Putin, Trump and the Politics of Sincerity // Eurozine. 2018. 26 февраля (https://www.eurozine.com/importance-earnest-putin-trump-politics-sincerity/).*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Липовецкий М. Псевдоморфоза: реакционный постмодернизм как проблема // Новое литературное обозрение. 2018. № 3 (https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/151/article/19759/).*

менный поворот к «реакционной искренности». Между серединой 1980-х годов и настоящим временем критический разговор об искренности постепенно менял облик. Из любимого занятия русских постмодернистов он превратился в дискурсивную игрушку таких кумиров нового патриотизма и постправды, как Ксения Собчак и Владислав Сурков³⁸. Этот реакционный поворот – который я также (но значительно менее подробно) обсуждаю в книге³⁹ – в полном ходу и сегодня.

Анализ реакционной искренности, языка Путина и Навального, а также советской риторики искренности – ключевые дополнения к моей книге. Но они лишь одни из первых шагов в области изучения русскоязычной политики искренности. Более детальное описание этой политики, несомненно, поможет нам ответить на немаловажный вопрос: как, борясь за власть, политические акторы используют претензии на собственную искренность и обвинения в лицемерии других?

³⁸ Руттен Э. Реакционная искренность // Новое литературное обозрение. 2018. № 3 (https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/151/article/19761/).

³⁹ Об этом см. главу 2.

ПРИВИЛЕГИИ ИСКРЕННОСТИ

Кроме вопроса о политике искренности в своей книге я мало касаюсь еще одного важного вопроса: как риторика искренности относится к проблеме гендера и, шире, к проблеме социальных неравенств?

Центральные фигуры, которые я рассматриваю, – Дмитрий Пригов, Владимир Сорокин и, в меньшей мере, Дмитрий Воденников, Лев Рубинштейн, Олег Кулик. Женские голоса в моем анализе намного менее слышны. Еще тише голоса тех, кого «общество определяет как небелых людей», говоря языком теоретиков «белой привилегии»⁴⁰. Я заметила это неравенство еще на ранней стадии исследования, но тогда решила, что материал сам диктует выбор центральных фигур. Так уж получилось, рассуждала я, что влиятельнейшие голоса в этой дискуссии принадлежат (белым) мужчинам (средних лет). Со временем, однако, я стала задавать себе вопрос: насколько самоочевидно центральное место именно этих голосов в истории искренности после коммунизма? Сегодня я в большей степени, чем в ранние 2010-е годы, склонна ответить на этот вопрос отрицательно. Социальные привилегии не только *объект* дискуссий о «новой искренности» (как в репортажах о харассменте Смирновой и Кочкиной), они также влияют на вопрос: а кого мы слушаем и слышим в этих дискуссиях. Не нужно быть мужененавистником или радикальным активистом – точно так же, как не нужно отвергать ценность работы Пригова и Сорокина, – чтобы понять, что гендерный дисбаланс в дискуссиях об искренности – не случайный фактор. Напротив, это результат того системного гендерного неравенства, которое мы видим по сей день в интеллектуальном дискурсе не меньше, чем в других областях; видим и в России, и, скажем, на моей родине, в Голландии⁴¹. Не случайно совсем недавно голландская литературоведка Корина Коолен, основываясь на анализе цифровой среды, показала, что женское авторство до сих пор ассоциируется с более низким литературным качеством⁴². Содержательные исследования Коолен приводят к ясному выводу: когда роман, стихотворение или литературный манифест написаны женщиной, их «шансы обрести литературный престиж» сокращаются⁴³.

Дискурс об искренности окрашивают и другие, не менее системные виды социальных неравенств. Можно, например, задать себе вопрос о том, почему в русскоязычных дискуссиях о возрождении искренности редко слышны голоса культурных меньшинств?⁴⁴ Моя чувствительность к этой и другим проблемам, связанным с социальными привилегиями, – не случайность. Она прямо вытекает из дискуссий о гендерных, расовых и классовых неравенствах, которые сегодня столь оживленно ведутся и внутри и вне академии. Пост-, деколониальные, неомарксистские, новые феминистские аналитические дискурсы нередко осуждают как «шумиху», «дешевый активизм» или – хуже того – «опасный ревизионизм». Осторожность таких критиков понятна. Но было бы ошибкой, скрываясь за предупреждениями, игнорировать фундаментальные социальные вопросы, которые поднимаются этими направлениями исследований.

⁴⁰ См.: *Rothenberg P. (ed.) White Privilege*. New York: Worth Publishers, 2011; *Wekker G. White Innocence. Paradoxes of Colonialism and Race*. Durham, NC: Duke University Press, 2016.

⁴¹ О гендере как исторической и актуальной социальной проблеме см. следующие русскоязычные публикации в журнале «Ф-письмо» (<https://syg.malf-writing>); *Ушакин С. (ред.) О муже(Н)ственности*: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2002; *Здравомыслова Е., Темкина А.* Двенадцать лекций по гендерной социологии. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2015.

⁴² *Koolen C. Reading Beyond the Female: The Relationship between Perception of Author Gender and Literary Quality*. PhD Thesis. University of Amsterdam, 2018.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ О том, как «великий канон русской прозы» (и, можно добавить, русской литературы в целом) давно «игнорирует культурные меньшинства», см.: *Emerson C. The Cambridge Introduction to Russian Literature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 4.

Чем дискуссия о привилегиях важна для рефлексии об искренности, хорошо показывает критическое чтение «Бесконечной шутки» (*Infinite Jest*, 1996) – *opus magnum* американского глашатая «новой искренности» Дэвида Фостера Уоллеса. «Предполагаемая новая искренность *Бесконечной шутки*, – пишут американские литературоведы Джоэль Робертс и Эдвард Джексон, – направлена исключительно на белых персонажей романа», и «этот процесс работает за счет небелых и женских персонажей»⁴⁵. Исследователи заключают, что «формы расистского и сексистского исключения» не просто окрашивают, но «составляют очевидную основу новой искренности этого романа» и, таким образом, «призваны вернуть белых мужчин на позиции обоснованного культурного авторитета»⁴⁶.

Литературоведческий анализ – в отличие от модной игры академических «хайпов» – способствует размышлению о том, кто имеет больший, а кто меньший доступ к роли публичного защитника искренности. Ответ на этот вопрос звучит по-разному в разных локальных контекстах: в США проблема расового исключения имеет определенную историческую динамику, а в контексте советских и постсоветских (нон)конформистских кругов, которые я изучаю, ни «белая привилегия», ни «культурный авторитет» не являются самоочевидными понятиями⁴⁷. Но вопрос о привилегиях постсоветской искренности (то есть вопрос «Насколько искренность после коммунизма – маскулинная, „белая“ искренность?») заслуживает внимания. Я надеюсь, что в будущих публикациях его не будут обходить стороной.

⁴⁵ Roberts J., Jackson E. White Guys: Questioning Infinite Jest's New Sincerity // *Orbit: A Journal of American Literature*. 2017. Vol. 5 (1). P. 1–28. О расовом неравенстве (о расовой стереотипизации) и новой концептуализации искренности (и подлинности) см. также: Jackson J. *Real Black: Adventures in Racial Sincerity*. Chicago: Chicago University Press, 2005.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Для полезной дискуссии проблемы советского и постсоветского культурного авторитета – которая усложняет традиционные дихотомии официальных властей и контркультур – см.: Lipovetsky M., Smola K. (ed.) *Russia – Culture of (Non)Conformity: From the Late Soviet Era to the Present*. Special Issue // *Russian Literature*. 2018. Vol. 96–98.

БЛАГОДАРНОСТИ

Мысли, которые я излагаю на последующих и предшествующих страницах, мои; но они обильно пропитаны интеллектуальной и творческой щедростью других. Хочу выразить благодарность за время и помощь своим академическим коллегам Йосту ван Баку, Сандеру Броувелу, Отто Буле, Максиму Вальдштейну, Виллему Вестстейну, Эмме Виддис, Гасану Гусейнову, Евгению Добренко, Вере Зверевой, Деннису Иоффе, Кэтрионе Келли, Иоахиму Кляйну, Лисбет Кортхалс Алтес, Ади Кунцман, Игнунн Лунде, Бригитте Обермайр, Биргит Менцель, Риккардо Николози, Мартину Поулсену, Оливеру Реди, Барбаре Роггевеен, Станиславу Савицкому, Наталье Самутиной (которой очень не хватает), Игорю Смирнову, Владу Струкову, Ирине Суш, Дорин Схеллингс, Дирку Уффельману, Молли Флинн, Саймону Фрэнклину, Эрику де Харду, Джэне Хоулетт, Хернике Шмидт, Михаилу Эпштейну, Александру Эткинду и Раулу Эшельману. Студентам и аспирантам в Амстердаме, Кембридже и в других университетах, где мне довелось озвучивать выводы, содержащиеся в этой книге, отдельное спасибо. Они поделились со мной огромным количеством полезных работ и мыслей, и именно в дискуссиях с ними я постепенно стала видеть, что сложную проблему привилегии уже нельзя откладывать в сторону как детище радикалов и что она заслуживает серьезного внимания культурных историков.

Особая благодарность Илье Кукулину и Марку Липовецкому. Вдохновляющий разговор с ними – в течение дня, проведенного в поезде, а потом и в других местах – сильно повысил мою чуткость к размышлениям об искренности позднесоветских и современных российских писателей и художников. Мартье Йансе, Брехту Ламерису, Судхе Раджагопалену и Йенни Стеллеман я благодарна за богатые и полезные комментарии к отдельным главам. Оле Рябеч и Линеке Лейт благодарю за тяжелую охоту за изображениями. Ксению Галяеву благодарю за дружбу и за тонкое шестое чувство, помогающее найти релевантные тексты, фото и клипы.

За поддержку русского издания книги, работу над ней и за терпение сердечно благодарю Илью Калинина, Татьяну Вайзер и Ирину Прохорову; за русский перевод – мой глубокий поклон Андрею Степанову.

Кроме помощи академических и редакционных экспертов, мне также сильно помогли доработать мои аргументы практики современной культуры. Благодарю за время и энергию, вложенные в заполнение анкеты, краткую фейсбук-заметку или многочасовое интервью за ужином, Сашу Бродского, Надежду Бурову, Дмитрия Воденникова, Сергея Гандлевского, Дмитрия Голышко-Вольфсона, Аллу Есипович, Хэлли Йонгериус, Тимура Кибирова, Дафнэ и Веру Коррелл, Сергея Кузнецова, Олега Кулика, Джейсона Момберта, Антона Осмоловского, Ольгу Паволгу, Евгения Попова, Андрея Пригова, Льва Рубинштейна, Владимира Сорокина и Дашу Фурсей.

За институциональную поддержку я признательна NWO (Netherlands Scientific Organization) за возможность провести исследовательский проект Rubicon/Reclaiming the Reader, на выводы которого опирается книга. NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study) я признательна за возможность работы над русской версией книги. Университет Кембридж, Пембрук-колледж, Кембриджский Centre for Research in the Arts, Humanities and Societal Sciences, Университет Бергена, Университет Амстердама, ASCA (The Amsterdam School for Cultural Analysis) и Амстердамский Boekman Bibliotheek предоставили вдохновляющие интеллектуальные возможности, поддерживающие меня в то время, как я проводила свои исследования. А за очаг в самом глубоком значении этого слова благодарю Томаса ван Далена, Ульви ван Дален и ее четвероногих собратьев – Гарибалди и Фатитути.

ВВЕДЕНИЕ. ИСКРЕННОСТЬ, ПАМЯТЬ, МАРКЕТИНГ, МЕДИА

А. Ш. (12:46): Новая искренность.

bordzhia (12:47): В смысле?

А. Ш. (12:48): Такая теория... после постмодернизма придет новая искренность. Полный отказ от всех литературных клише и игр во имя адекватного самовыражения.

bordzhia (12:48): А рифмы там сохраняются?

А. Ш. (12:49): Ну, иногда да, сохраняются. Очень простые.

А. Ш. (12:49): А иногда не сохраняются.

bordzhia (12:49): Что поделать? Если уж она придет...

А. Ш. (12:49): Тотальная искренность.

А. Ш. (12:49): Кошмар такой.

А. Ш. (12:50): Отключаюсь. У нас тут очередь.

bordzhia (12:50): До связи⁴⁸.

Этот разговор, произошедший 8 декабря 2007 года между двумя участниками чата, свидетельствует об устойчивой тенденции в современной культуре. Я имею в виду тенденцию определять литературные, художественные и иные культурные практики как знаки нового духа времени – некий *Zeitgeist*, который описывается понятием «новая искренность». Люди с самым разным социальным и профессиональным профилем – блогеры и кураторы, ученые и поэты, философы и рекламщики, кино- и литературные критики, художники – понимают это словосочетание как позднепостмодернистскую (или постпостмодернистскую) философию жизни и культуры. «Новая – до мозга костей – искренность», «сплошная новая искренность» – подобные фразы постоянно всплывают в сетевом общении и печатных медиа.

Указать на карте мира, где именно происходят эти разговоры о новооткрытой искренности, сложно. В дискуссиях о новой культурной ментальности к выражению «новая искренность» прибегали в таких разных странах, как США, Эстония, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды и Китай⁴⁹.

В данной книге анализируется современная риторика искренности и ее глобальные аспекты. При этом особое внимание уделяется одной стране, в которой образованное сообщество особенно часто обращается к теме возрождения искренности как манифестации позднего или постпостмодернизма. Это Россия, история которой отмечена исключительным интересом к понятию искренности. Интерес этот не исчез и в постсоветской России. На протяжении последних лет при поиске в блогах всегда оказывалось, что русское словосочетание «новая

⁴⁸ Диалог двух блогеров 8 декабря 2007 года на сайте mail.ru (разговор сегодня удален).

⁴⁹ О транснациональных аспектах см.: *Bal M., Smith C., van Alphen E. (eds) The Rhetoric of Sincerity*. Stanford: Stanford University Press, 2009; о США, Великобритании и Франции см.: *Korthals Altes L. Blessedly post-ironic? Enkele tendensen in de hedendaagse literatuur en literatuurwetenschap*. Groningen: E. J. Korthals Altes, 2001; *Idem. Sincerity, Reliability and Other Ironies – Notes on Dave Eggers' «A Heartbreaking Work of Staggering Genius» // D'Hoker E., Martens G. (eds) Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel*. Berlin: Walter de Gruyter, 2008. P. 107–128; о США и Нидерландах см.: *Vaessens Th. De revanche van de roman: Literatuur, autoriteit en engagement*. Nijmegen: Van Tilt, 2009; о США см. также: *den Dulk A. Over de drempel: Voorbij de postmoderne impasse naar een zelf bewust engagement. De literaire zoektocht van Dave Eggers vergeleken met het denken van Friedrich Nietzsche en Albert Camus*. The Hague: Allard den Dulk, 2004; *Idem. Love Me Till My Heart Stops: Existentialist Engagement // Contemporary American Literature*. Amsterdam: Free University Amsterdam, 2012; о Китае: *Chung Yupin, Jacobi Th. In Search of a New Sincerity? Contemporary Art from China // Workshop for Tate Liverpool*. 21 April 2007; об Эстонии см. статью в эстонской «Википедии»: «New Sincerity» (<http://et.wikipedia.org/wiki/Uussiirus>); и о Германии см.: *Kirchmeier V. Texte Viktor Kirchmeier* (http://www.mais-de.de/beta/mais_2_texte_kirchmeier.html).

искренность» употребили совсем недавно: несколько дней, а иногда несколько часов назад⁵⁰. Русскоязычные блогеры, политики, культурологи сегодня пользуются этим понятием для объяснения ностальгии по советской эпохе, путинской медиаполитики или российского вторжения в Украину⁵¹; антрополог Алексей Юрчак указывает на «искренность» как на главный эстетический модус «постпосткоммунистического» искусства в области анимации, визуальных искусств и музыки⁵²; художник-перформансист Олег Кулик считает, что «новая искренность» – центральное понятие современного российского искусства⁵³. В области литературы – главной темы этой книги – на новую искренность как на важный культурный тренд указывают такие известные исследователи культуры эпохи перестройки и постсоветской России, как Светлана Бойм, Михаил Эпштейн и Марк Липовецкий⁵⁴.

⁵⁰ Для поиска я использовала такие простые поисковые инструменты, как российский поисковик «Яндекс» (blogs.yandex.ru) и «Google». Отдаю себе отчет в методологических и концептуальных проблемах, касающихся этих и других поисковых машин. О них см.: *Rogers R.* *The End of the Virtual: Digital Methods*. Amsterdam: Vossiuspers UvA/Amsterdam University Press, 2009; о сложностях, связанных с использованием «Google» для решения задач гуманитарных наук, см., например: *Jeanneney J.-N.* *Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe*. Chicago: University of Chicago Press, 2006; об искажении выдаваемых результатов см.: *Pariser E.* *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. London: Penguin, 2011.

⁵¹ См., например: *Ашкеров А.* «Пусси Райот» – изнанка казенности // *Взгляд*. 2012. 15 марта (<http://vz.ru/politics/2012/3/15/567975.html>); *Перцев А.* «Новая искренность»: Когда пропагандист не врёт // *Slon.ru*. 2014. 10 марта (<https://republic.ru/posts/1166698>).

⁵² *Yurchak A.* *Post-Post-Communist Sincerity: Pioneers, Cosmonauts, and Other Soviet Heroes Born Today* // *Lahusen Th., Solomon Jr. P. (eds) What Is Soviet Now? Identities, Legacies, Memories*. Berlin: LIT, 2008. P. 257–277.

⁵³ *Kulik O.* *Artist's Favourites* // *Spike Art Quarterly*. 2007. № 12 (http://old.spikeart.at/en/a/magazin/back/Artist_s_Favourites_14). В английской версии используется выражение «new honesty» («новая честность»), однако в личном общении Кулик объяснил, что в русском оригинале он писал именно об «искренности» (личное сообщение в фейсбуке от 11 января 2012 года).

⁵⁴ *Эпштейн М.* Каталог новых поэзий // *Современная русская поэзия после 1966 г.: Двухязычная антология*. Berlin: Oberbaum, 1990. С. 359–367; *Ои же.* Прото- или конец постмодернизма // *Знамя*. 1996. № 3. С. 196–209 (цит. по: *Эпштейн М.* *Постмодерн в России*. М.: Изд-во Р. Элинина, 2002); *Boym S.* *Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994. P. 102; *Lipovetsky M.* *Russian Postmodernist Fiction: Dialogue with Chaos*. New York: M. E. Sharpe, 1999. P. 247; *Липовецкий М.* Паралогии: трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 1920–2000-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 575.

АКЦЕНТ НА ИСКРЕННОСТИ

Что же представляет собой эта «новая искренность», интересующая в наши дни столь многих людей? Чтобы избежать ненужных ожиданий, я оговорюсь сразу, что не стремлюсь дать однозначный безапелляционный ответ на этот вопрос. В книге не ставится задача решить раз и навсегда, что «на самом деле» представляет собой новая искренность, которую очень по-разному понимают различные авторы. Я не пытаюсь доказать, что российский автор А или музыкант Б – «подлинный» проводник этого тренда. Я не считаю, что новая искренность является *главным* культурным трендом, который следует за постмодернизмом, и не думаю даже, что подобная тенденция непременно должна следовать за постмодернизмом. Я не намерена доказывать, что именно «искренность» – свойство быть правдивым, откровенным, чистосердечным, по определению толкового словаря русского языка под ред. Т. Ф. Ефремова, – новая парадигма XXI века.

Существующие исследования «новой» или «постпостмодернистской» искренности часто имеют полемическую установку: ученые и критики с жаром доказывают, что того или иного писателя, художника или целый культурный тренд можно или, наоборот, нельзя воспринимать в перспективе новой искренности. В этой книге я стараюсь избегать подобной активной апологии или критики понятия. Моя цель иная: я стремлюсь определить его роль в процессах современного культурного производства и потребления. Этот подход предполагает, что риторика новой искренности представляет собой продуктивную отправную точку для того, чтобы начать обсуждение столь разных социальных категорий, как идентичность, язык, память, коммодификация и медиа.



Илл. 1. Алла Есипович. Без названия (из серии «Песочница»), 2004–2005. Художник Олег Кулик называет Аллу Есипович одной из пяти представителей «новой искренности» в современном российском искусстве⁵⁵. См. всю серию: www.esipovich.com/node/30. (Фотография публикуется с разрешения Аллы Есипович)

Мой главный тезис состоит в том, что в нынешней России разговор об искренности и ее неизменном современном двойнике – постмодернизме – неизбежно превращается в разговор об *искренности после коммунизма*. Это уточнение, вынесенное в заглавие моей книги, отсылает к «Романтизму после Освенцима» (2007) – монографии Сары Гайер, посвященной изменениям в романтических парадигмах после Холокоста⁵⁶. Меня, как и Гайер, интересует соотношение социальной травмы и культурных сдвигов. Однако постсоветская искренность – это искренность *после коммунизма* не только в «травматическом» смысле. Название книги отсылает к трем главным целям, которые я поставила перед собой:

– во-первых, я исследую формы искренности в обществе, сформированном желанием преодолеть травматический опыт советского периода и неудавшийся коммунистический эксперимент;

⁵⁵ Kulik O. Artist's Favorite.

⁵⁶ Guyer S. Romanticism after Auschwitz. Stanford: Stanford University Press, 2007.

– во-вторых, я ставлю вопрос о месте искренности в посткоммунистической экономике, рассматривающей честность и подлинность в качестве потенциальных рыночных инструментов;

– в-третьих, я изучаю взаимоотношения между искренностью и последовавшим после коллапса советской пропагандистской машины подъемом постсоветской, (пост)дигитальной медиасферы.

Описывая цель своего анализа, я не случайно прибегаю к понятиям *постсоветского* и *посткоммунистического* – этим неоднозначным и, как верно говорят коллеги, «используемым по поводу и без повода» этикеткам⁵⁷. Рассмотрение проблем искренности в России тесно связано не только с глобальным дискурсом о честном самовыражении, но и с широко обсуждаемым вопросом о специфике искренности в так называемом «постсоветском» или «посткоммунистическом» пространстве – в той части мира, которая еще недавно находилась под сильным влиянием коммунистической идеологии и была исторически так или иначе связана с Советским Союзом. Некоторые ученые справедливо ставят вопрос о том, как долго мы будем обозначать эту часть мира столь ограниченными во временном и социальном отношении терминами, как «посткоммунистический» и «постсоциалистический»?⁵⁸ Они вполне обоснованно сомневаются в корректности утверждения о том, что «политика и идеология при социализме соответствовали друг другу... в сравнительно большей степени, чем в тех странах, которые мы называем „капиталистическими“»⁵⁹. Во многих случаях ответ на этот вопрос является отрицательным: современная жизнь в России или, скажем, в Румынии только частично определяется коммунистическим прошлым, общим для них в XX веке.

Однако по отношению к предмету исследования, избранному в данной книге, ответ на этот вопрос, как мне кажется, может быть положительным. Я постараюсь показать, что сегодня коммунистический (или, если хотите, социалистический) опыт по-прежнему определяет риторику искренности на культурном пространстве, которое некогда называли Восточным блоком. Разговоры о возрождении искренности ведутся – приведем только два примера – в публичном пространстве Болгарии, где множество блогеров обсуждают постпостмодернистскую искренность⁶⁰, и весьма сходным образом – в (строго говоря, все еще коммунистическом) Китае, где, если верить кураторам выставки китайского искусства в галерее «Тэйт Ливерпуль» в 2007 году, современная арт-сцена охвачена постоянным «поиском новой искренности»⁶¹. Более того, хотя многие авторы, голоса которых прозвучат в этой книге, обычно определяются как «российские», некоторые из них имеют корни или живут в других странах, некогда входивших в Советский Союз.

Учсть происходящее на этом обширном пространстве чрезвычайно важно для понимания природы посткоммунистической искренности. Я осознаю это, однако, как по практическим причинам (я русист), так и по причинам концептуальным (искренность как особый исторический модус в российской культурной истории), случаи, о которых пойдет речь,

⁵⁷ Hutchings S. Editorial // BASEES Newsletter. February 2011. P. 1–2. Хатчингс предлагает краткий, но полезный обзор теоретических проблем, связанных с употреблением обоих понятий в научной практике.

⁵⁸ Дискуссию о «пост-» понятиях в славистике см., например, в работах: Rogers D. Postsocialisms Unbound: Connections, Critiques, Comparisons // Slavic Review. 2010. № 69 (1). P. 1–16; Buckler J. What Comes after «Post-Soviet» in Russian Studies? // PMLA. 2009. № 124 (1) (http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4341694/Buckler_WhatComes.pdf); Platt K. The Post-Soviet Is Over: On Reading the Ruins // Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts. 2009. № 1 (1) (<https://arcade.stanford.edu/rofl/post-soviet-over-reading-ruins>).

⁵⁹ Hoerschelmann K., Stenning A. History, Geography and Difference in the Post-Socialist World: Or, Do We Still Need Post-Socialism? // Antipode. 2008. № 40 (2). P. 322.

⁶⁰ См. два примера: Боев К. Ремодернизм? // Liternet. 2011. № 12 (145) (<http://liternet.bg/publish9/hboev/remodernizym.htm>) и обзор поэзии: Далакчиева-Леринска М. Срецу всевластието на хоризонталите // Литературен форум. Брой 2002. № 1 (485) (<http://www.slovo.bg/old/litforum/201>).

⁶¹ Chung Yupin, Jacobi Th. In Search of a New Sincerity?

будут касаться именно российской риторики новой искренности. Более того, мое исследование сосредоточено на определенной социальной страте российского общества – страте, которая частично совпадает с той группой, которую раньше называли бы «интеллектуальной», частично с той, которую теоретик медиа и культуролог Дэвид Хезмондал называет «рабочими культуры», частично с той, которую описывают в (порой бравурно-корпоративных) исследованиях творческих индустрий и «креативного класса»⁶². В этой книге я, в зависимости от контекста, определяю ту же самую группу как «(публичных) интеллектуалов», «образованное сообщество» или «творческие»/«интеллектуальные круги».

Внутри этой социальной стратегии меня особенно интересуют те, кто работает в новых российских медиа и в области культуры, литературы и новых медиа. Эти три области занимают важное место в глобальных дискуссиях о возрождении искренности, однако для исследования именно постсоветского дискурса об искренности литературу следует поставить во главу угла. Российские писатели и интеллектуалы сегодня борются за то, чтобы «сохранить свое значение после коммунизма» (как заметил литературовед Эндрю Вахтель), и они не полностью утратили привычную для себя функцию «гласа народа»⁶³. По словам историка культуры Розалинды Марш, «для историков современной России по-прежнему важно принимать во внимание культурные процессы и публичные дебаты в среде интеллигенции, поскольку многие российские интеллектуалы... являются важными публичными фигурами и их идеи оказывают существенное влияние на политических лидеров и народ в целом»⁶⁴.

Разговоры о новой искренности принадлежат к числу тех литературно-интеллектуальных дискуссий, которые сильно воздействуют на постсоветскую публичную сферу. Излагая их содержание, я сознательно обращаюсь не только к специалистам по данному региону, но и к более широкой аудитории. Зная о характерных для изучения постпостмодернизма тенденциях в США и Западной Европе, я хочу обратить внимание на его более широкую культурную диверсификацию. Ведь существенный вопрос «В какую культурную эпоху мы живем сейчас и как она соотносится с постмодернизмом?» является предметом живых споров не только в том регионе мира, который обычно ассоциируют с «Западом». Этот более широкий транскультурный контекст, правда, не остался совершенно незамеченным в гуманитарных исследованиях и в какой-то мере известен западной аудитории. Спорадические переводы, а также написанные по-английски работы Эпштейна, Липовецкого и еще нескольких славистов и писателей помогают англоязычной аудитории познакомиться с последними (в том числе постпостмодернистскими) культурными процессами, идущими в России⁶⁵. Тем не менее вплоть до насто-

⁶² *Hesmondhalgh D. Cultural and Creative Industries // Bennett T., Frow J. (eds) Handbook of Cultural Analysis. Oxford: Blackwell, 2008. P. 552–570* (Хезмондал использует это понятие по отношению к работникам так называемых культурных индустрий – области, в которой «в современных экономиках и обществах производятся и распределяются товары культуры»). О критических подходах к исследованию творческих индустрий и о популярной (как в России, так и повсеместно), хотя и противоречивой книге Ричарда Флориды (*Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Perseus, 2002*) см., помимо анализа Хезмондала, в особенности работы: *Peck J. Struggling with the Creative Class // International Journal of Urban and Regional Research. 2005. № 29 (4). P. 740–770; Трубина Е. «Трамвай, полный Wi-Fi»: О рецепции идей Ричарда Флориды в России // Неприкосновенный запас. 2013. № 6 (92) (<https://magazines.gorky.media/nz/2013/6/tramvaj-polnyj-wi-fi-o-recvpczii-idej-richarda-floridy-v-rossii.html>); *Калинин И. Индустриальный горизонт креативных индустрий // Неприкосновенный запас. 2013. № 6 (92) (<https://magazines.gorky.media/nz/2013/6/industrialnyj-gorizont-kreativnyh-industrij.html>).**

⁶³ *Wachtel A. B. Remaining Relevant after Communism: The Role of the Writer in Eastern Europe. Chicago: University of Chicago Press, 2006.*

⁶⁴ *Marsh R. Literature, History and Identity in Post-Soviet Russia, 1991–2006. Oxford: Peter Lang, 2007. P. 17.*

⁶⁵ Из интересных англоязычных работ назовем «Третью волну» (1992) – переводную антологию русской поэзии, знакомящую англоязычных читателей с «сентиментальной» и иными версиями московского концептуализма, хотя при этом в книге не указывается прямо на эти позднепостмодернистские или постпостмодернистские течения (*Ashby S. M., Johnson K. (eds) Third Wave: The New Russian Poetry. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992*); а также следующие аналитические работы, каждая из которых содержит обсуждение российских постпостмодернистских тенденций в виде главы или отдельной статьи: *Epstein M. After the Future: On the New Consciousness in Literature // South Atlantic Quarterly. 1991. № 90 (2). P. 409–445; Epstein M. N., Genis A. A., Vladiv-Glover S. (eds) Russian Postmodernism: New Perspectives on Post-Soviet Culture. New York: Berghahn,*

ящего времени широкомасштабные транскультурные исследования постпостмодернистского дискурса являются скорее исключениями из общего правила. В нашей, как ее иногда называют, транснациональной или постнациональной публичной сфере иметь инклюзивное представление об этом дискурсе оказывается важно, как никогда раньше⁶⁶.

1999; *Lipovetsky M.* Russian Postmodernist Fiction: Dialogue with Chaos. New York: M. E. Sharpe, 1999; *Shneidman N. N.* Russian Literature 1988–1994: The End of an Era. Toronto: University of Toronto Press, 1995. P. 205; *Weststeijn W.* After Postmodernism // *Weststeijn W. (ed.)* Dutch Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists. Amsterdam: Rodopi, 1999. P. 211–224; прощальная лекция Вестстейна (Амстердам, 31 октября 2008 года; не опубликована). Работа Рауля Эшельмана (*Eshelman R.* Performatism, or the End of Postmodernism // *Anthropoetics*. 2001. № 6 (2) (www.anthropoetics.ucla.edu/ap0602/perform.htm) исследует в основном международные тенденции, но обращается также к российскому кинематографу, визуальному искусству и архитектуре.

⁶⁶ Я использую эти понятия в том смысле, в каком их понимает Нэнси Фрэзер в статье: *Fraser N.* Transnationalizing the Public Sphere: On the Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in a Post-Westphalian World // *Theory, Culture and Society*. 2007. № 24 (4). P. 7–30, а также Юрген Хабермас (наиболее примечательна в этом отношении его работа: *Habermas J.* The Postnational Constellation: Political Essays. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001).

НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ: РАБОЧЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«Московский концептуализм, в сущности, не более чем слух, предположение, подозрение» – так определял культуролог Борис Гройс художественный подход, доминировавший в позднесоветскую эпоху и во время перестройки⁶⁷. Московские концептуалисты ниспровергали идеологию социалистического реализма, прибегая к художественным практикам, которые теперь, с исторической дистанции, можно спокойно назвать постмодернистскими.

В годы перестройки московский концептуализм продолжал доминировать в российском культурном пространстве, однако искусствоведы склоняются к выводу, что к концу 1990-х годов он потерял потенциал для дальнейшего художественного роста. Среди новых тенденций не один критик упоминает «новую искренность» как обозначение новой культурной парадигмы. Адепты новой искренности больше спорят друг с другом, чем соглашаются, однако в одном они согласны: отталкиваясь только от фактических данных, определить новую искренность оказывается столь же непросто, как и ее предшественника – концептуализм. Историк литературы и поэт Илья Кукулин в интервью, которое я взяла у него для этой книги, выразил эту сложность следующим образом: «новая искренность» заслуживает внимания исследователей, но «недостаточно осмыслена как теоретическая проблема»⁶⁸.

Как я уже предупредила, данная книга не ставит задачу дать исчерпывающее теоретическое определение понятия «искренность» или его предполагаемого предшественника – понятия «постмодернизм». Я не решаюсь братья за их определение хотя бы потому, что не думаю, что подобные всеобъемлющие определения вообще возможны. Однако в исследовании, посвященном понятию «новая искренность», будет все же нелишним дать рабочее определение⁶⁹.

«Новая искренность» в этой книге указывает прежде всего на современный *trend*, то есть, если прибегнуть к (несколько герметически сформулированному) научному определению слова «тренд», – наличие «внутренне определенной непрерывной функции в рамках определенного темпорального промежутка»⁷⁰. В данном случае мы наблюдаем непрерывно повторяющиеся отсылки к понятию «новая искренность» в рамках временного промежутка с середины 1980-х и до начала 2010-х годов, когда была написана эта книга.

Несмотря на самые разнообразные употребления понятия «новой искренности» в России (очень трудно найти что-то общее между сугубо теоретической трактовкой «новой искренности» и восклицанием взволнованного блогера: «А, это и пр-р-рава новая искренность!»), это выражение все же встречается в ситуациях с определенными общими предпосылками. Самая важная из них: перед нами реактивный, или, как выражаются некоторые исследователи, «диалектический», термин⁷¹. Так же как, например, русский романтизм невозможно объяснить иначе, нежели реакцией на неоклассицизм, так и новую искренность нельзя понять вне постмодернизма – парадигмы, на которую это понятие откликнулось и чьи уроки оно усвоило. Не случайно и внутри России, и за ее пределами сторонники новой искренности постоянно обращаются – эксплицитно или имплицитно – именно к постмодернизму.

⁶⁷ Groys B. The Other Gaze. Russian Unofficial Art's View of the Soviet World // *Erjavec A. (ed.) Postmodernism and the Postsocialist Condition: Politicized Art under Late Socialism*. Berkeley: University of California Press, 2003. P. 87.

⁶⁸ Илья Кукулин, личный разговор с автором 12 мая 2009 года (мысль повторилась в письме автору от 25 сентября 2019 года). Запись может быть выслана по запросу на адрес: ellen.rutten@uva.nl.

⁶⁹ Благодарю автора анонимной рецензии в издательстве Йельского университета, которое опубликовало английский оригинал данной книги, за полезные замечания и добавления к этому определению.

⁷⁰ Wu Zhaohua, Huang N. E., Long S. R., Peng Chung-Kang. On the Trend, Detrending, and Variability of Nonlinear and Nonstationary Time Series // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2007. № 104 (<http://www.pnas.org/content/104/38/14889.full>).

⁷¹ *Buckland W.* Wes Anderson: A «Smart» Director of the New Sincerity? // *New Review of Film and Television Studies*. 2012. № 10 (1). P. 1–5.

Сама по себе эта общая черта почти ничего не говорит нам о риторике новой искренности: хотя большинство специалистов полагают, что постмодернизм был основан на скептическом художественном и интеллектуальном подходе к действительности, это понятие сегодня настолько изношено, что потеряло всякую определенность. Социолог Дик Хебдидж еще в 1988 году отмечал его дискурсивную непрозрачность. По его словам, мы явно имеем дело с модным словечком:

Когда оказывается возможно назвать «постмодернистским» убранство комнаты, облик здания, стилистику фильма, композицию аудиоальбома или «скретч-видео», телевизионную рекламу или документальный фильм (или «интертекстуальные» отношения между ними), макет страницы в модном журнале или в критическом издании, антiteleологическую тенденцию в рамках эпистемологии, опровержение «метафизики присутствия», общее притупление чувств, коллективное уныние, мрачные прогнозы о будущем послевоенного поколения «беби-бумеров», которые испытывают разочарования, свойственные людям средних лет, «проблему» рефлексивности, ряд риторических тропов, «культ поверхностности», новую фазу товарного фетишизма, зачарованность образами, кодами и стилями, процесс культурной, политической или экзистенциальной фрагментации и/или кризис, «децентрацию субъекта», «недоверие к метанарративам», замену единых силовых осей множеством силовых/дискурсивных формаций, «подрыв значения», коллапс культурных иерархий, страх ядерного самоуничтожения, упадок университетов, функционирование и воздействие новых миниатюризированных технологий, крупные сдвиги в обществе и экономике в направлении «медийной», «потребительской» или «мультинациональной» фазы, чувство (в зависимости от того, о ком вы читаете) «безместности» или отказа от нее («критический регионализм») или (даже) общей подмены темпоральных координат пространственными – когда оказывается возможно назвать все эти вещи «постмодерными» (или для простоты использовать сокращение «пост» или «постпост»), – тогда становится ясно, что перед нами модное словечко⁷².

Хебдиджу явно доставляет удовольствие растягивать свой список до бесконечности. И в этом его стилистика резко отличается от той, к которой склонны приверженцы возрожденной искренности. Они предпочитают куда более короткий – и, как правило, карикатурно утрированный – перечень отвергаемых ими характеристик постмодернизма: излишний релятивизм, цинизм, насмешливость, вседозволенность и этическое безразличие.

На место этих «уродливо постмодернистских» черт апологеты новой искренности предлагают некую культурную альтернативу. Как формулирует наиболее известный из российских провозвестников возрождения искренности, культуролог Михаил Эпштейн, они защищают эстетику, которая «определяется не искренностью автора и не цитатностью стиля, но именно взаимодействием того и другого, с ускользающей гранью их различия, так что и вполне искреннее высказывание воспринимается как тонкая цитатная подделка, а расхожая цитата звучит как пронзительное лирическое признание»⁷³.

Это определение было предложено Эпштейном в 1999 году, однако оно сильно напоминает риторику, появившуюся гораздо раньше – в 1950-х годах – в эпоху, к которой я вернусь в первой главе. Эпштейн утверждает, что новоискренняя эстетика возрождает и переоценивает

⁷² *Hebdige D. Hiding in the Light: On Images and Things. London: Routledge, 1988. P. 181–182.*

⁷³ *Эпштейн М. Поэзия и сверхпоэзия: о своеобразии творческих миров. СПб.: Азбука-Аттикус, 2016. С. 250.*

«такие любимые в годы оттепели слова, как „душа“, „слеза“... „красота“... „правда“ и „царствие Божие“». Эти слова, считает он, обросли «спесью и чопорностью» в результате многовековой традиции официального употребления, но, пройдя «через периоды революционного умерщвления и карнавального осмеяния... теперь возвращаются в какой-то трансцендентной прозрачности, легкости, как не от мира сего»⁷⁴.

В словах Эпштейна трудно не заметить налет мистицизма. Не вызывает сомнений и то, что его трактовка термина «новая искренность» не стала непосредственным источником вдохновения для всех и каждого: в онлайн-письме, например, это понятие часто выступает не как тщательно продуманный теоретический концепт, а как поведенческая модель («Выставляя свою внутреннюю жизнь на всеобщее обозрение в сети, я воплощаю ранее неслыханную искренность») или как маркер идентичности («Я адепт новой искренности – вот почему я люблю певца А или поэта Б»).

Эпштейн – важный, но не единственный голос в этой дискуссии. Как мы увидим в последующих главах, теоретики российской новой искренности до сих пор продолжают переопределять ее как продукт новой медийной или массмедийной культуры и постсоциализма. Однако Эпштейн чутко уловил суть как русскоязычной, так и глобальной риторики новой искренности. Он указал на то, что центральное место в этой риторике занимает дискурсивный жест честного самораскрытия (честен ли при этом художник в действительности – это другой вопрос; значение имеет его приверженность приему эмоциональной прозрачности).

Предложенное Эпштейном описание доказывает также и то, что разговор о новой искренности нельзя отделять от более широкой дискуссии, которую можно свести к вопросу: «Завершен ли постмодернизм, и если да, то что следует за ним?» Этот вопрос вращается вокруг тезиса, который одни продвигают, а другие опровергают: приемы (раннего) постмодернизма уже исчерпали себя и их постепенно вытесняют новые культурные тренды.

В Университете Амстердама мы с группой литературоведов и историков философии занимались сравнительным анализом этого «постпостмодернистского» дискурса⁷⁵. Коллектив, включавший специалистов по американской, британской, французской, русской, боснийской, немецкой, польской, норвежской и голландской культурам, составил список ключевых слов, которые в предельно концентрированном виде отражают «мышление за пределами постмодерна». В список вошли следующие понятия: «ирония», «релятивизм», «этика», «ангажированность», «метафикшн», «подлинность», «искренность», «сентиментализм», «возвращение „я“», «нарративность», «регионализм» и сам «постмодернизм»⁷⁶.

Проведенная работа показала, что понять взаимоотношения этих терминов с транснациональным дискурсом о современной культуре достаточно сложно. В большинстве исследуемых сфер, как только речь заходит о «современном состоянии», различные термины приобретают то негативные, то позитивные оттенки значения, в зависимости от позиции автора высказывания. Для некоторых участников дискуссий в том или ином регионе ирония и релятивизм – это своего рода табу; для других именно они придают ценность «постпостмодернистской искренности», «новой нарративности» или «новой подлинности». Некоторые критики полагают, что нынешние «обновленные» «искренность», «ангажированность» или любой другой термин из приведенного выше списка указывают на полный разрыв с постмодернистским мышлением, знаменуя наступление новой культурной эпохи, сопоставимой с Ренессансом или романтизмом. Другие считают, что современные тенденции – это всего лишь исправление ошибок продолжающегося (пост)модерного мышления и мы находимся на пороге новой стадии большого

⁷⁴ Там же.

⁷⁵ Выводы этого совместного проекта собраны в издании: *Vaessens Th., van Dijk Y. (eds) Reconsidering the Postmodern: European Literature beyond Relativism*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.

⁷⁶ Приведены в электронном письме Томаса Вассенса к автору книги от 6 июня 2009 года.

проекта модерности или постмодерности. Третьи предупреждают, что не следует доверять провозвестникам постиронической эпохи: ведь как можно вернуться к искренности и серьезности после постмодернизма, как будто не произошло ничего существенного? Особую сумбурность дискуссии придает то, что ее участники обычно на одном дыхании произносят совершенно разные по содержанию, но популярные в данный момент слова для обозначения одного и того же явления.

Позиция Эпштейна в этом отношении вторит международным тенденциям: для него эстетика новой искренности смешивается и переплетается со множеством им же изобретенных (и во многом взаимозаменяемых) обозначений современных культурных трендов, таких как «постцитатное творчество», «постпостмодернизм», «транслиризм», «новая сентиментальность», «постконцептуализм», «трансутопизм», «трансубъективность», «трансидализм», «трансоригинальность», «транссентиментальность» – и, в довершение, ряд заканчивающихся на «-изм» «как бы» понятий, включая «„как бы“ лиризм», «„как бы“ идеализм» и «„как бы“ утопизм»⁷⁷.

В условиях подобного попури взаимозаменяемых обозначений можно задаться вопросом: почему в данном исследовании автор ставит в центр внимания именно новую искренность? Почему не заняться, например, дискурсом нового идеализма или возрожденного лиризма?

Ответ прост: общественный резонанс. «Новая искренность» стала ключевым понятием постсоветской поп-культуры, в отличие от упомянутых выше терминов Эпштейна, большая часть которых сошла со сцены раньше, чем их создатель успел ввести их в оборот. Популярностью пользуется, правда, и скромный набор других «измов», которые, как полагают некоторые исследователи, пришли на смену постмодернизму. Так, критики охотно говорят о «новой серьезности», «новой подлинности», «постреализме» или «новом реализме»⁷⁸. Однако термин «новая искренность» находит куда больший отклик у широкой (и, надо признать, в основном высокообразованной и городской) аудитории, чем любой из его конкурентов. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют результаты обращения к поисковым системам⁷⁹. При написании этой книги я регулярно задавала поиск понятия «новая искренность» с помощью «Google» и его российского аналога – «Яндекс». За время исследования результаты поиска «new sincerity» – английского эквивалента этого выражения – сильно варьировались день ото дня: в этом отношении поисковые инструменты легко могут завести нас в статистическое болото. Но они всегда показывали, что данное словосочетание занимает сильную позицию как в специфическом постпостмодернистском, так и в массовом дискурсе. Так, например, 31 мая 2013 года расширенный поиск этого словосочетания по-английски дал 7680 общих совпадений и 1810 совпадений по блогам⁸⁰. На этот же день «new authenticity» («новая подлинность») давала только 3120 совпадений. «New realism» («новый реализм» с показателем 55 600 демонстрировал намного больше совпадений, однако двойственность значения (термин указывает также на известное направление итальянского кино) искажает эти результаты). В топе поиска

⁷⁷ Эпштейн М. Поэзия и сверхпоэзия. С. 255.

⁷⁸ См. следующие показательные примеры: о русской «новой серьезности» – Архангельский А. Новая серьезность // Взгляд. 2008. 25 августа (<http://www.vz.ru/columns/2008/8/25/200033.print.html>); о более политическом, неоимпериалистском использовании термина см.: Дугин А. Геополитика постмодерна. СПб.: Амфора, 2007; о «новом реализме» см.: Губайловский В., Роднянская И. Книги необщего пользования: опыт диалога о «не такой прозе» // Зарубежные записки. 2007. № 12 (<https://magazines.gorky.media/zz/2007/12/knigi-neobshhego-polzovaniya.html>).

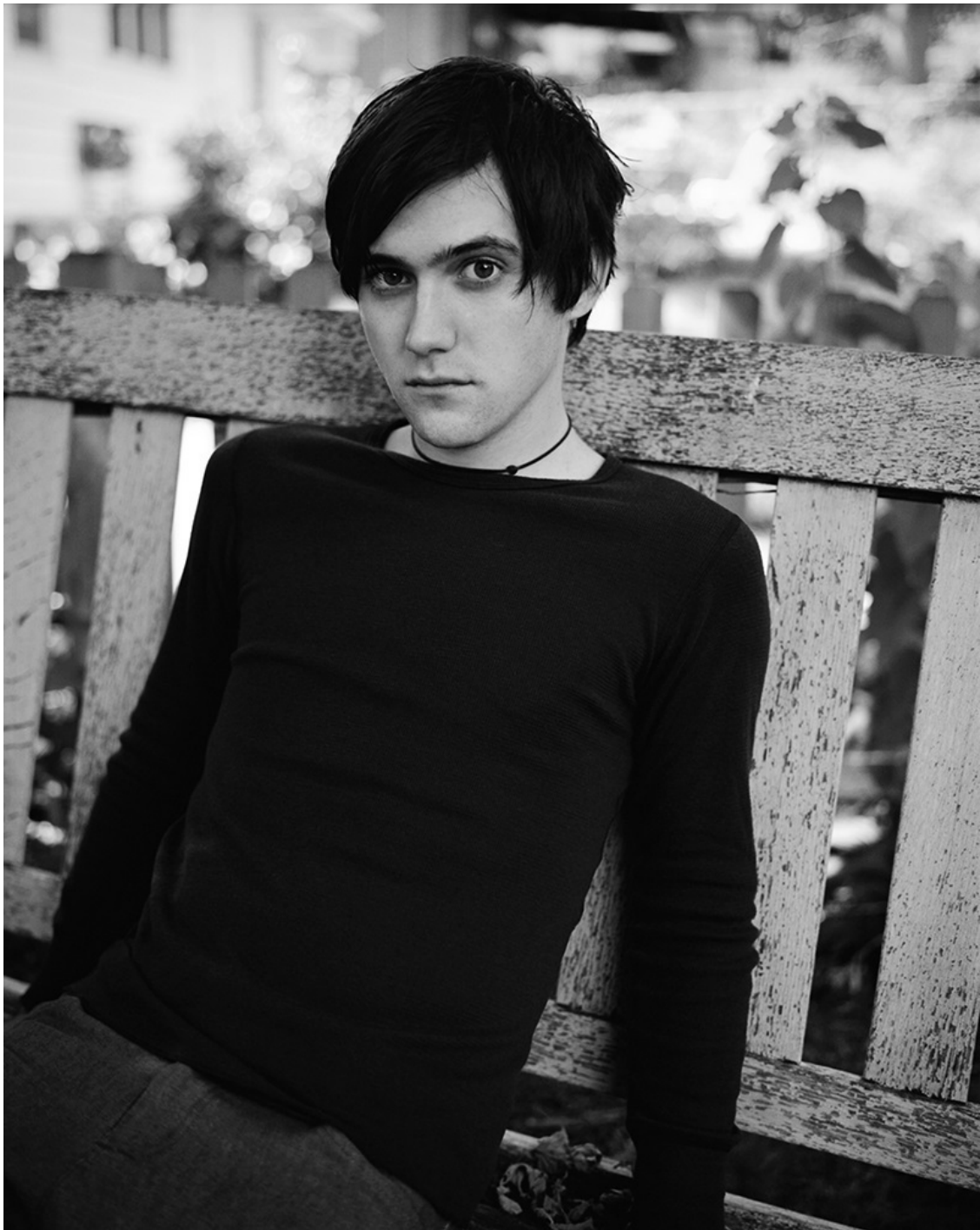
⁷⁹ О серьезных методологических проблемах, связанных с использованием поисковиков, см. примеч. 2 на с. 25–26 к настоящему «Введению».

⁸⁰ Поиск по блогам, который я использовала, – это «Google Blog Search» и поиск по блогам «Яндекса». Первый из них перестал существовать в 2011 году, однако до марта 2016 года можно было использовать альтернативный поисковый профиль, чтобы заставить «Google» показывать результаты (см. об этой альтернативной стратегии: <http://www.netforlawyers.com/content/google-kills-blog-search-engine-109>). В 2015 году поиск по блогам в «Яндексе» был сокращен до двух месяцев назад относительно даты запроса.

«new sincerity» оказывалась статья «Википедии», которая на моих глазах – по ходу работы над проектом – превратилась из одного короткого абзаца в текст, состоящий из девяти разделов и снабженный множеством ссылок⁸¹. В течение 2000-х годов известные СМИ, такие как New York Times (см., для примера, илл. 2), Guardian, Times, TAZ, Die Zeit, все чаще прибегали к этому понятию в статьях, трактовавших «поворот к новой искренности» после постмодернизма как самоочевидное явление⁸².

⁸¹ New Sincerity // Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/New_Sincerity).

⁸² См., например: *Gross T.* Alter Protest in neuen Klamotten // *Die Zeit*. 2003. № 10 (www.zeit.de/2003/10/Alter_Protest_in_neuen_Klamotten); *Thumfart J.* Das Kulturphänomen «New Sincerity»: Und jetzt mal ehrlich // *TAZ*. 2013. April 27 (<http://www.taz.de/!115184/>); *Williams Z.* The Final Irony // *Guardian*. 2003. June 28 (<http://www.guardian.co.uk/weekend/story/0,3605,985375,00.html>); *Maher K.* If You're Unhappy and You Know It... // *Times*. 2005. June 16 (<https://www.thetimes.co.uk/article/if-youre-unhappy-and-you-know-it-z0tpnkmdkc>); *Saltz J.* Sincerity and Irony Hug It Out // *New Yorker*. 2010. May 27 (<http://nymag.com/arts/art/reviews/66277>).



Илл. 2. Конор Оберст, солист группы «Bright Eyes». Его электронные поп-рок-композиции в 2005 году были названы газетой New York Times чистейшим «символом новой искренности»⁸³. (Фотография публикуется с разрешения Бутча Хогана)

Сходные результаты дает и поиск на русском языке: он показывает, что термин широко распространен в блогах, чатах и форумах. Так, 31 мая 2013 года поиск в «Яндексе» фразы «новая искренность» по русскоязычным блогам и форумам дал 1736 результатов; в то же время «новая подлинность» набрала только 51 совпадение, а «новый реализм» – 1094⁸⁴.

⁸³ См.: *Sanah K.* Mr. Sincerity Tries a New Trick // *New York Times*. 2005. January 16 (<http://www.nytimes.com/2005/01/16/arts/music/16sann.html>).

⁸⁴ Эти цифры возникали при поиске по блогам с помощью blogs.yandex.ru, при включенной опции «все блоги и форумы».

Другими словами, российские блогеры и участники чатов используют понятие «новая искренность» охотнее и чаще, чем другие «постпостмодернистские» обозначения. И нетрудно понять, почему так происходит. Во-первых, выражение «новая искренность» проще, чем отдающее наукообразием сочетание «постпостмодернизм» или придуманные Эпштейном термины с префиксами «пост-» и «транс-». Хотя, как указывал сам Эпштейн, в высокоинтеллектуальных постмодернистских кругах с настороженностью относились к таким понятиям, как «душа», «слеза» и «искренность», эти слова тем не менее всегда сохраняли важное место в массовой культуре. Во-вторых, – и это, возможно, еще важнее, – искренность длительное время занимала особое место в российском общественном сознании, в особенности с тех пор, как в 1953 году статья Померанцева об искренности в литературе проложила дорогу для критического переосмысления сталинизма. К ней мы вернемся в первой главе.

Я ограничила поиск блогами и форумами, поскольку они больше говорят о популярности того или иного термина. В тот же день поиск тех же сочетаний в «Google» дал 7160 совпадений для «новой искренности». Это число гораздо выше, чем цифра 1680 для «новой подлинности», но весьма невелико по сравнению с 28 500 совпадениями с «новым реализмом» – однако и в русском переводе результаты поиска искажены двойственностью значения этого (кино-)термина. Показательны для проблем, свойственных онлайн-поисковикам, были результаты и для «новой искренности», которые я получила в январе 2012 года: согласно результатам, показанным на первой странице, эта фраза (кириллицей) набрала всего 28 совпадений; однако, когда я перешла на вторую страницу и далее, число совпадений увеличилось примерно до 1340 (число варьировалось по мере перехода на следующие страницы).

НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ: МОЙ ПОДХОД

В дальнейшем изложении я постараюсь показать, как работает риторика новой искренности, и поместить ее в исторический контекст. При этом меня будет особенно интересовать само слово «искренность». Чтобы избежать стилистической монотонности, я буду иногда заменять его на близкие понятия, такие как «честность», «открытость» или «доверительность». Но я прекрасно осознаю, что подобные слова не являются полными синонимами «искренности». Однако меня интересует не широкий тематический кластер, который они образуют вместе взятые, а «семантическая история» (*Begriffsgeschichte*) слова «искренность» и те коннотации обновления и возрождения, которые сегодня с ним связываются.

В первой главе будет дан исторический и транснациональный обзор риторики искренности – и в особенности тех прежних традиций словоупотребления, которые повлияли на сегодняшний дискурс об искренности. Дальнейшие главы будут касаться современной России. В них я предложу более или менее хронологически последовательное исследование риторики «новой искренности» от первого появления этого понятия в середине 1980-х годов до начала 2010-х, когда и была написана большая часть этой книги⁸⁵.

Три главы, со второй по четвертую, прослеживают траектории развития риторики новой искренности в этот период. Они показывают, как со временем оно из понятия, используемого узкой группой авторов и художников, превращается в мейнстримный речевой оборот. В 1985 году уже известный к тому времени андеграундный поэт Дмитрий Пригов ввел это понятие в качестве поэтической формулы. В то время Пригов выпустил в самиздате сборник стихотворений под названием «Новая искренность». В предисловии к нему он объяснял, чем искренность его стихов отличается от традиционной поэтической искренности. В своей излюбленной суховато-академической манере Пригов писал: «Поэт, как и читатель, всегда искренен в самом себе. Эти стихи взывают к искренности общения, они знаки ситуации искренности со всем пониманием условностей как зоны, так и знаков ее проявления»⁸⁶. Контраст между этим определением и современным использованием понятия «новая искренность» огромен. К началу 2010-х годов то же понятие стало очень популярным среди пользователей российских социальных сетей, где оно употребляется для характеристики столь разных явлений, как популярный узбекский певец Джимми, девушки в «Старбаксе» или места хипстерских тусовок в больших городах⁸⁷.

В главах со второй по четвертую я прослеживаю, как менялась риторика «новой искренности» в диапазоне между Приговым и певцом Джимми. Ее изменения я изучаю во множестве сфер: прежде всего в литературе, но также в кино, архитектуре, дизайне, изобразительном искусстве, музыке, моде, телевидении и новых медиа. Стремясь охватить столь различные культурные сферы, исследование неизбежно вторгается в те области, где знания автора ограничены. Почему я, тем не менее, включаю их в свое повествование? На этот вопрос красноречиво ответил филолог Гленн Мост. По его словам, исследования «процессов культурной трансмиссии по необходимости пересекают границы академических дисциплин, которыми те так или иначе, верно или неверно, очертили свои территории... Вопрос, следовательно, состоит

⁸⁵ Строго говоря, разговор о новой искренности начался еще в советские времена. Тем не менее я говорю по большей части о постсоветском дискурсе, поскольку публичное обсуждение этой темы началось только после распада СССР.

⁸⁶ Пригов Д. А. Предупреждение // Пригов Д. А. Новая искренность. М.: <Самиздат (не опубликовано)>, 1986. Я благодарна вдове поэта Надежде Буровой и Дмитрию Голыню-Вольфсону за предоставленную мне копию этой рукописи.

⁸⁷ О Джимми см.: пост и комментарий юзера *nikadubrovsky* от 27 мая 2009 года (nikadubrovsky.livejournal.com/649798.html?thread=9542726); о «Старбаксе» см.: пост *flippi754* от 3 марта 2009 года (flippi754.livejournal.com/151341.html; режим доступа: 30 июля 2019 года); о хипстерском кафе: Time Out: vkontakte.ru page, пост от 20 мая 2015 года (http://vk.com/wall-28845160_22474).

не в том, принимать или не принимать междисциплинарность (никакой другой процедуры для подобного объекта исследования и не может быть), а в том, до какой степени можно минимизировать ее риски»⁸⁸.

Отказ от междисциплинарности действительно был бы искусственным приемом в моем исследовании: адепты «новой искренности» применяют свое излюбленное клише к письменным текстам столь же охотно, как к фильмам или модным брендам. Однако затрагивая многие охватывающие данное понятие области, я не теряю из виду дисциплинарный фокус своего исследования. Мои интересы сосредотачиваются прежде всего на развитии литературы и новых медиа.

Изучая риторику новой искренности в этих приоритетных для меня областях, я опираюсь на уже существующие теоретические подходы к культурной истории. Я черпаю вдохновение из исторических экскурсов «новых истористов» с их «настойчивым желанием прочесть текстуальные следы прошлого с той внимательностью, которая традиционно уделялась только литературным текстам»⁸⁹. Также я заимствую идеи из исследований, изучающих «устную, письменную и знаковую речь, а также мультимодальные/мультимедийные формы коммуникации... в диапазоне от молчания и минимальных высказываний (вроде „о'кей“) до романа, серии газетных статей или диалога»⁹⁰. Дискурсивный анализ, в числе прочего, побудил меня обратиться не столько к конкретным литературным текстам, сколько к обсуждению этих текстов и к публичному контексту, в котором они циркулируют. Данная книга прослеживает в первую очередь метадискурсивные источники, от свидетельств писателей и блогеров о саморепрезентации – в интервью, стихах, статьях и тех разговорах, которые я вела с ними, или же в постах из социальных сетей – до интерпретаций их идей в рецензиях и научных работах.

Другие теоретические вопросы и подходы я предпочитала обходить. Так, например, я не касаюсь интригующей задачи исследования постсоветской искренности с точки зрения естественных наук, и неврологии в особенности. Хотя я с оптимизмом смотрю на перспективы неврологических исследований в области гуманитарных наук, я все же согласна с коллегами, полагающими, что на современном этапе «историкам эмоций не стоит бездумно заимствовать методы у естественных наук»⁹¹. В данном исследовании я решила не обращаться и к когнитивным методам. Другая грань проблемы, которой в данной работе почти не уделяется внимания, – это гендерный аспект. Литераторы, к творчеству которых я обращаюсь, в подавляющем большинстве мужчины, и потому ответ на важный вопрос о том, как выстраивается и воспринимается риторика искренности в высказываниях мужчин и женщин, здесь не дается. Упомяну и последнюю проблему, не получившую должной разработки: это вопрос о взаимодействии дискурса новой искренности и религии.

Религиозные, гендерные и когнитивные аспекты проблемы искренности весьма существенны, однако в данной книге я изучаю три других аспекта, с особой силой проявившиеся в собранном мной эмпирическом материале. Они отражают три стороны общественной жизни, о которых особенно ожесточенно спорят в посткоммунистической России, и им стоит уделить внимание в этом вводном обзоре: это коллективная память, коммодификация и (новые) медиа.

⁸⁸ Most G. W. *Doubting Thomas*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005. P. XI–XII.

⁸⁹ Greenblatt S. *Learning to Curse: Essays in Early Modern Culture*. New York: Routledge, 1990. P. 14.

⁹⁰ Discourse Studies // Centre for Discourse Studies, Aalborg University. Без даты (diskurs.hum.aau.dk/english/discourse.htm).

⁹¹ Плампер Я., Шахадат Ш., Эли М. (ред.) *Российская империя чувств: подходы к культурной истории эмоции: Сб. статей*. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 31. Плампер подробно обосновывает этот тезис на С. 31–33.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ИСКРЕННОСТЬ: ИСКРЕННОСТЬ И ПАМЯТЬ

В первом из трех указанных выше аспектов переплетены литература, история и память. Как соотносятся в постсоветской России разговоры о новой искренности с несмолкающими спорами о недавнем прошлом? Что эти вопросы взаимосвязаны, не подлежит никакому сомнению. Российская полемика о постпостмодернистской или позднепостмодернистской искренности ведется в эпоху всепроникающего общественного напряжения, связанного с крушением Советского Союза и последствиями этого события. Постсоветская эпоха – не просто фон, на котором ведутся дебаты о возрождении искренности; она сама по себе представляет один из ключевых вопросов этих дебатов. Искренность по традиции относят к сфере личных, задушевных чувств. Однако, обсуждая новоявленную искренность, российские писатели, критики и исследователи с готовностью прибегают к социально-политической и исторической терминологии. Они охотно относят понятие (не)искренности к определенным историческим или политическим группам: например, приписывают лицемерие советским руководителям или нынешним правителям России.

Показательной для этой манеры приписывать искренность конкретным социальным слоям – и отрицать ее наличие у других – оказывается трактовка «новой искренности» Кириллом Медведевым. Поэт и политический активист указывает на президента Путина, белорусского лидера Лукашенко и российскую блогосферу как на воплощения культурного менталитета, который царил в России в 2000-х годах. В этой «новой искренности» бессовестный политический пиар сочетается с потребностью непосредственного выражения⁹². Новое эмоциональное состояние определяется недавней историей: Медведев рассматривает современную искренность как «инструмент», с помощью которого можно «вскрыть» существующие культурные дискурсы, включая «грубо идеологизированный советский» дискурс⁹³.

Одним словом, Медведев видит в «новой искренности» терапевтическое средство, позволяющее справиться с исторической травмой. Он не одинок в убеждении, что искренность может оказаться полезным инструментом для обращения с недавней историей. Подобный взгляд получил широкое распространение в России еще с начала перестройки, – а убеждение во взаимосвязи искренности и памяти развивалось и в другие эпохи и в других контекстах. В первой главе мы увидим, что традиция рассматривать искренность как творческую альтернативу лицемерному прошлому процветала среди российской творческой элиты 1950-х – начала 1960-х годов. Также мы увидим, что связанное с этой традицией стремление приписывать искренность определенным социокультурным группам восходит по крайней мере к началу эпохи модерна. В той же главе я проанализирую, как в 2000-х годах многие исследователи в США и Европе связывали сдвиг к «постиронической» искренности с необходимостью преодоления травмы, возникшей после атак на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.

Политическая история особенно сильно воздействует на дискурс о «новой искренности» в современной России, где советская травма остается открытой раной. «Она соревнуется и борется не с чем иным, как с историей» – так историк Александр Эткин суммирует специфику постсоветской литературы⁹⁴. То, что моя монография откликается на эту «борьбу памяти», не случайно. Контуры будущей книги постепенно прояснялись в 2000-х и начале 2010-х годов, когда я работала в Кембридже и вместе с Эткином и другими исследователями пыта-

⁹² Медведев К. Литература будет проверена: Индивидуальный проект и «новая эмоциональность» // Медведев К. Реакция вообще. М.: Свободное марксистское издательство, 2007 (<http://kirillmedvedev.narod.ru/liter-.html>).

⁹³ Медведев К. Литература будет проверена.

⁹⁴ Etkind A. *Warped Mourning*. Stanford: Stanford University Press, 2013. P. 237.

лась ввести изучение коммеморативной культуры, характерной для Восточной Европы, в число признанных академических дисциплин⁹⁵. Вдохновленная работами кембриджской команды, я не могла не заметить тот уклон в сторону политики памяти, который постоянно и настойчиво обозначался в дискурсе постсоветской искренности. Тема памяти станет центральной во второй главе, которая начинается 1980-ми и заканчивается началом 2000-х годов. Главным героем здесь становится Дмитрий Александрович Пригов. Поэт, который придумал термин «новая искренность» как выражение своего кредо еще в 1985 году, является чрезвычайно показательным примером автора, для которого разговор об искренности есть в то же время разговор о травме.

Вторая глава рассматривает историю Пригова в более широком контексте повествования об искренности и коллективной памяти. Такой широкий подход полезен по крайней мере по трем причинам. Во-первых, он модифицирует существующее понимание искренности и социально-политического конфликта. Он позволяет критически подойти к концепции, предложенной Мике Бал и другими, согласно которой риторика искренности особенно пышно расцветает во времена межкультурных конфликтов⁹⁶. История Пригова и его современников противоречит этой точке зрения: она указывает на то, что внимание к искренности также интенсифицируется в эпохи *внутрикультурной* нестабильности.

Во-вторых, вторая глава проясняет наше понимание поздне- и постсоветской культурной жизни. Прежде всего, она углубляет существующее представление о постсоветской памяти. В России темные страницы прошлого по сей день остаются не полностью освещены, и ученые неоднократно указывали на то, что современная Россия не разделяет широко распространенную озабоченность национальной травматической памятью, которую мы наблюдаем в некоторых других обществах. Постсоветские власти стремятся не вспоминать мрачные страницы советской истории, предпочитая забыть о них. Говоря словами Эткинды, «единственное, что мы знаем о советской катастрофе, кроме ее масштаба, – это ее неопределенность. У нас нет полного списка погибших, нет полного списка палачей и недостаточно мемориалов, музеев и воспоминаний, которые бы могли оформить понимание этих событий для будущих поколений»⁹⁷.

Говоря о недостаточном количестве памятников, государственных законов и судебных постановлений, которые давали бы критическую оценку недавнему прошлому, Эткинды использует метафору из компьютерного сленга. России, утверждает он, недостает памяти, воплощенной «в железе» (*hardware*). Он расширяет эту метафору, указывая, что воспоминания о советском терроре так и не выкристаллизовались в «жесткую память», а приняли вместо этого «мягкую» форму – воплотились в литературных произведениях, исторических исследованиях и других дискурсивных практиках⁹⁸.

Эткинды занимается по преимуществу исследованием «мягкой» памяти, зафиксированной в литературных и исторических текстах. Моя работа, как и другие исследования, предполагает, что имеет смысл расширить намеченное Эткиндой понятие «мягкой памяти». Начиная

⁹⁵ Проводившиеся в Кембридже в 2000-х годах исследования включали, среди прочего, семинары по культурной памяти в России и Восточной Европе. Помимо этого речь идет о работе Междисциплинарной исследовательской группы по изучению памяти в Восточной Европе и антропологически ориентированной исследовательской группы «Telling Memories» (2007–2009), в которой сильный акцент делался на постсоветскую историю, а также проект «Memory at War» (2010–2013), в котором изучались дискурсы памяти в Польше, России и Украине. В последнем проекте я координировала подпроект по восточноевропейской памяти и новым медиа (см. подробнее: *Rutten E., Fedor J., Zvereva V. (eds) Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States*. New York: Routledge, 2013).

⁹⁶ Об этой концепции см.: *Bal M., van Alphen E.* Introduction // *Bal M., Smith C., van Alphen E. (eds) The Rhetoric of Sincerity*. Stanford: Stanford University Press, 2009. P. 1–16.

⁹⁷ Эткинды А. Кривое горе: память о непогребенных. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 21. О проблемах постсоветской культуры памяти см. также среди прочего: *Nowak A.* History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe. Warsaw: Polish Institute of International Affairs, 2008.

⁹⁸ Эткинды А. Кривое горе. С. 228.

с перестройки и вплоть до сегодняшнего дня критическое изучение прошлого в российской культуре развивалось не только в литературе, но и в кинематографе, музыке, визуальных искусствах, а также в критических дискуссиях. Другими словами, мой материал помогает создать более широкую картину того, что Эткинд назвал «программным обеспечением» («*software*») культурной памяти.

Мой анализ позволяет иначе взглянуть на эпоху перестройки и постсоветскую культуру в еще одном – третьем и наиболее важном – отношении. Они показывают, что начиная с 1980-х годов, когда российские художники стали рассматривать советский период как уходящую эпоху, они то и дело обращались к категории искренности как к *целительному* средству. Искренность была для них инструментом, помогавшим справиться с фальшью, в которую со временем превратилась советская утопия. Подчеркивая эту целительную сторону искренности, ее почти терапевтическую функцию в трактовке вопросов социальной памяти, мое исследование переосмысляет доминирующие трактовки постмодернистского эксперимента в России. Как правило, в них на первый план выходил «скептический, иронический» (но при этом «втайне сентиментальный») характер российского постмодернизма⁹⁹, его «нарочитая несерьезность», игровая, «демифологизирующая» направленность¹⁰⁰ или же его «ироническая веселость» и стремление «отвергать любые эстетические табу»¹⁰¹. Когда специалисты говорят о более «серьезных» или «искренних» позициях в рамках постмодернизма, они, как правило, рассматривают такие парадигмы как примету вторичной, «позднепостмодернистской» фазы, но при этом не придают большого значения вектору искренности внутри постмодернистского опыта в целом¹⁰².

Не отрицая обоснованности этих и других похожих утверждений, я настаиваю на том, что они нуждаются в некотором уточнении¹⁰³. На протяжении того периода, который традиционные трактовки постмодернизма считали игровым и релятивистским, российские интеллектуалы настойчиво указывали на необходимость внимательнее присмотреться к аффективным тревогам, которые в тех же постмодернистских трактовках либо вообще выпадали из поля зрения исследователей, либо сводились к деконструктивистским жестам. Среди этих тревог, как мы увидим во второй главе, центральную роль играет забота о выражении искренних чувств. Для ведущих теоретиков и практиков постмодернизма искренность могла одновременно выступать и как миф, который они разоблачали, и *в то же время* как лечебная сила, способная помочь преодолеть травматичное прошлое.

⁹⁹ Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта/Наука, 1999. С. 5.

¹⁰⁰ Lipovetsky M. Russian Postmodernist Fiction. P. 14–15.

¹⁰¹ Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. С. 12.

¹⁰² О понятии «поздний постмодернизм» см.: Fokkema D. The Semiotics of Literary Postmodernism // Bertens J., Fokkema D. (eds) International Postmodernism. Amsterdam: John Benjamins, 1997. P. 15–43. В России различие между «патентованным» ранним и менее релятивистским «поздним» постмодернизмом наиболее последовательно защищается в книге Липовецкого «Паралогии».

¹⁰³ В литературе, освещающей теорию русского постмодернизма, тезис о «проблематизации искренности», который я защищаю, не отсутствовал полностью – но обычно он либо упоминался мимоходом, либо не формулировался прямо (как, например, в случае упомянутых выше книг Эпштейна, посвященных постмодернизму, или «Паралогий» Липовецкого).

ИСКРЕННОСТЬ И РАСЧЕТ: «Я» КАК ТОВАР

При обсуждении «новой искренности» в России до сего дня в какой-то мере актуальным остается вопрос о преодолении травматического прошлого. Однако если память была ключевой проблемой на ранних фазах интереса к тематике искренности, то в конце 1990-х – начале 2000-х годов она постепенно стала уступать место другой – скорее социоэкономически, нежели исторически мотивированной – концептуализации искренности. Эта перемена привела к появлению моего второго исследовательского вопроса: как, для участников дебатов о «новой искренности», соотносятся чисто художественные и более прагматические факторы?

В 1990-х и 2000-х годах карьера тех писателей, которые открыто поддерживали идею «(новой) искренности», часто развивалась вполне успешно. Достигнув высот культурной иерархии, они, как правило, остаются востребованными авторами, способными безбедно жить на свои гонорары. Неудивительно поэтому, что, как только писатель А или Б отходит от постмодернизма и занимает более «искреннюю» позицию, возникает вопрос: чем вызван такой переход – чисто творческими или социально-экономическими причинами?

Третья глава данной монографии рассматривает ключевую дискуссию, касающуюся проблемы искренности и коммодификации, связанной с «поворотом к искренности» Владимира Сорокина. Завоевав известность в качестве писателя-нонконформиста в позднесоветскую эпоху, Сорокин на рубеже веков приобрел статус классика российского постмодернизма. И в этот момент он сильно удивил своих поклонников, выпустив «Ледяную трилогию» – бестселлер-триптих, в котором провозгласил «говорение сердцем», напрямую связанное с утверждением искренности. Судя по интервью, Сорокин оставил в прошлом те постмодернистские взгляды, которые до той поры не раз публично выражал. И если прежде он отказывался от любых социальных и этических творческих установок¹⁰⁴, то теперь взял на вооружение классические литературные модели саморепрезентации, где императивами являются открытость и самовыражение. Как утверждает сам писатель, новые сочинения представляют собой его «первый опыт прямого высказывания по поводу нашей жизни»¹⁰⁵ и обусловлены его «тоской по... непосредственности»¹⁰⁶.

У коллег по цеху и критиков резкая перемена публичной репрезентации Сорокина вызвала удивление и изрядный скептицизм. Критики задавались вопросом: была ли неожиданно обнаружившаяся в конце 1990-х у Сорокина тоска по непосредственному искреннему высказыванию действительно обусловлена стремлением к художественным переменам? Или это была всего лишь попытка расширить свою аудиторию – и вследствие этого увеличить тиражи? Известный поэт Тимур Кибиров выразил широко распространенное мнение относительно «нового Сорокина» в интервью, которое я взяла у него в 2009 году: «Он написал книгу, которую ожидали. Каждый хочет завоевать как можно больше душ читателей. Но, мне кажется, большая ошибка угадывать то, чего ожидают», а затем писать согласно этим смоделированным ожиданиям¹⁰⁷.

Историк литературы Сюзен Розенбаум показала, что подобные опасения относительно коммодификации литературы восходят к давней традиции концептуализации лирической искренности. В тонком исследовании современной лирической поэзии она показывает, что тенденция оспаривания риторики искренности усиливается в эпохи коренных перемен, проис-

¹⁰⁴ Вспомним его знаменитое заявление 1992 года о том, что текст – это всего лишь «буквы на бумаге» (*Сорокин В.* Текст как наркотик: интервью с Татьяной Рассказовой // *Сорокин В.* Сборник рассказов. М.: Русслит, 1992. С. 121).

¹⁰⁵ *Сорокин В.* Владимир Сорокин не хочет быть пророком, как Лев Толстой // Независимая газета. 2003. 2 июля.

¹⁰⁶ Слова Сорокина приводятся в кн.: *Соколов Б.* Моя книга о Владимире Сорокине. М.: AIRO-XXI, 2005. С. 129.

¹⁰⁷ Тимур Кибиров, личный разговор в Москве 13 мая 2009 года. Запись может быть предоставлена по запросу, присланному на адрес: ellen.rutten@uva.nl.

ходящих в поле литературы¹⁰⁸. В третьей главе я предпринимаю попытку проверить, насколько сделанные на англо-американском материале выводы Розенбаум применимы к литературной ситуации в современной России. Дебаты об искренности начались в эпоху перестройки и обрели окончательную форму в первые постсоветские годы. Таким образом, они совпали с моментом распада Советского Союза и возникшей в этой связи необходимости выживать, приспособляясь к новым социальноэкономическим условиям. Именно на фоне этой переходной ситуации критики и читатели постоянно задаются вопросом: как соотносятся между собой авторское стремление к искренности и простой расчет, как соотносится (или должна соотноситься) литература с капризами рынка?

В третьей главе я обращаюсь к полемике вокруг сорокинской «Трилогии», чтобы исследовать посткоммунистические представления о художественном самовыражении и коммодификации. Я не ставлю перед собой задачу решить проблему, искренне ли творят постсоветские художники. Такая постановка вопроса вообще не кажется мне плодотворной. Я предпочитаю неэссенциалистский подход, который опирается на работу Розенбаум и другие недавние теоретические исследования концепта искренности¹⁰⁹. Эти работы предлагают особую интерпретацию, которая учитывает напряжение между моральными импликациями искренности – потребностью поступать в соответствии с внутренними порывами – и неизбежной вовлеченностью художника в рыночные механизмы. Солидаризируясь с этими взглядами, я избегаю вопроса о том, насколько «искренен» Сорокин, и задаю другой: как *работает* риторика искренности в его публичном самопозиционировании и восприятии читателей?

К этому подходу имеет отношение и другой повлиявший на мое исследование тезис: взгляд на литературу как на поле конкурирующих сил – концепция, предложенная Пьером Бурдьё и Жизель Сапиро в социологических работах, посвященных французской литературе¹¹⁰. Такие исследователи, как Михаил Берг, Биргит Менцель и Эндрю Вахтель, успешно перенесли предложенный Бурдьё синтез институционального и литературного анализа на постсоветскую культуру¹¹¹. Их подход позволяет рассматривать искренность не столько как интратекстуальный мотив, сколько как эмоциональную технику, которую авторы и критики могут использовать при позиционировании себя и других на интеллектуальной арене. Как будет показано в третьей главе, я не единственная, кто приветствует подобный подход. Идеи Бурдьё, помогавшие мне интерпретировать постсоветские дискурсы искренности, сами являются неотъемлемой частью тех же дискурсов. Именно на эти идеи опираются и исследователи Сорокина, когда размышляют о его гимнах искренности.

Давая обзор дебатов об искренности и расчете, я не просто предлагаю путеводитель по дискуссиям об искренности, которые велись на рубеже XX и XXI веков. В третьей главе к русскоязычному контексту применяется подход Розенбаум, разработанный на англоязычном материале, и предлагаются новые размышления о творчестве в постсоветскую эпоху. Эта глава, как и предыдущая, указывает на необходимость придавать большее значение феномену искренности в теоретизировании о постмодернизме. В самой главе я объясняю, зачем это необ-

¹⁰⁸ Rosenbaum S. *Professing Sincerity: Modern Lyric Poetry, Commercial Culture, and the Crisis in Reading*. Charlottesville: University of Virginia Press, 2007.

¹⁰⁹ Помимо Розенбаум я особо выделяю работы: Reddy W. M. *The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001; Bal M., Smith C., van Alphen E. (eds) *The Rhetoric of Sincerity*; а также рассуждения об искренности в ряде статей сборника: Плампер Я., Шахадан Ш., Эли М. (ред.) *Российская империя чувств* (в особенности работы Келли, Сафроновой и Сироткиной).

¹¹⁰ См.: Bourdieu P. *The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature*. Cambridge: Polity Press, 1993, а также: Sapiro G. *La guerre des écrivains, 1940–1953*. Paris: Fayard, 1999.

¹¹¹ Наиболее полезной для меня оказалась упоминавшаяся выше книга Вахтеля (*Wachtel A. B. Remaining Relevant after Communism*) и работа: Menzel B. *Bürgerkrieg um Worte: Die russische Literaturkritik der Perestrojka*. Köln: Böhlau, 2001. Из авторитетных работ о российской ситуации см. также: Дубин Б., Гудков Л. *Литература как социальный институт*. М.: Новое литературное обозрение, 1994, а также: Берг М. *Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе*. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

ходимо, но в данном предисловии хотела бы коснуться другой (связанной с этим) необходимости.

Существующие исследования постсоветского литературного поля внесли большой вклад в углубление нашего понимания как самого этого поля, так и социоэкономических процессов, стоящих за литературными и другими творческими практиками. Они внесли также определенный вклад в решение важного вопроса о стратегиях художников, приспосабливающихся к социальным обстоятельствам, – и они расширили понимание литературы и искусства как символического и экономического капитала. Однако есть область, которой они не касались или затрагивали лишь косвенно. Это сфера эмоций¹¹². Какая художественная стратегия приспособления к обстоятельствам действует в данном случае? Какой культурный объект приобретает символический или экономический капитал? Невозможно дать ответы на подобные вопросы, не принимая во внимание то, как данный культурно-исторический период формируется существующими аффективными нормами, сообществами и режимами. В третьей главе, оспаривая устоявшиеся подходы к постсоветскому литературному рынку, я предлагаю уделить пристальное внимание аффективным категориям. Спор с устоявшимися подходами включает переоценку эмоций и придание им статуса ведущей силы в процессах творческого производства и потребления.

¹¹² Пример историко-литературного исследования, которое основывается на аффективных категориях и прослеживает социоэкономические процессы, см.: *Klein J. Deržavin: Wahrheit und Aufrichtigkeit im Herrscherlob // Zeitschrift für Slavische Philologie*. 2010. № 67 (1). P. 27–51.

ИСКРЕННОСТЬ И ПОДЛИННОСТЬ В (ПОСТ)ДИГИТАЛЬНОМ МИРЕ

В постсоветской России обсуждение вопросов искренности и коммодификации достигло особого накала в конце 1990-х – начале 2000-х годов, когда в стране начала укореняться рыночная экономическая система. Начиная с этого времени в результате коммерциализации обозначилась третья из проблем, связанных с искренностью: проблема медиализации. Она соотносится с третьим из вопросов, которые я ставлю в этой книге: как «новая искренность» в глазах ее adeptов соотносится с бурным ростом цифровых медиа?

Как и в случае проблемы «искренность и память», не вызывает сомнения само существование связи между искренностью и СМИ. Начиная с эпохи раннего модернизма высказываются мнения о том, что новые технологии (печатные, звуковые и др.) либо отдаляют нас от непосредственного самовыражения, либо порождают более искренние способы коммуникации. Эти часто повторявшиеся в прошлом заявления (их подробный обзор я даю в первой главе) стали вновь повсеместно распространяться по мере того, как в начале 2000-х годов широкую популярность начали приобретать социальные медиа. Их изучение существенно для понимания нашей эпохи как «постдигитальной». Это понятие ученые и практики используют для теоретического осмысления (здесь я цитирую описывающую данную парадигму работу Дэвида Берри и Майкла Дитера) «нашей недавно компьютеризированной повседневности», где офлайнное и онлайнное тесно переплетены, а дигитальность является уже нормой, а не инновацией. Тезис о том, что именно (пост)дигитальные медиа открывают путь для подлинного общения, воспроизводит, например, американский критик София Лейби, утверждая: «Интернет – не место для утаивания, иронии, холодности и ностальгии, интернет делает нас искренними, открытыми, теплыми и гуманными»¹¹³.

В России с начала 2000-х новое поколение писателей и блогеров вело оживленные споры о связи искренности и медиализации¹¹⁴. Для них советская травма и шоковый переход к капиталистической экономике – факторы, определившие понимание искренности в конце перестройки и начале постсоветского периода, – разумеется, не пустой звук. Однако в последние десятилетия эти болезненные вопросы национальной истории постепенно уступили место более глобальной рефлексии о дигитализации и нарастающей автоматизации повседневной жизни. После коллапса пропагандистской советской «медиаимперии» (термин медиаисторика Кристин Рот-Ай¹¹⁵) в 2000-х годах возникла совершенно иная, отчасти дигитализированная медийная ситуация, социокультурные смыслы и импликации которой с тех пор непрерывно обсуждают культурологи. Эксперты любят повторять, что новые медийные модели, работающие по принципу «снизу вверх», способствуют появлению совершенно иной культуры письма. Некоторым такая письменная культура кажется куда более соответствующей искреннему, непосредственному выражению, чем прежние печатные или телекоммуникационные медиа-средства – не важно, пропагандистские или свободные. Другие полагают, что новые технологии

¹¹³ *Berry D. M., Dieter M. (eds) Postdigital Aesthetics: Art, Computation and Design*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015; *Leiby S. I Am Such a Failure: Poetry on, around, and about the Internet // Paallasvuo J. New Sincerity: Exhibition Catalogue*. London: Jaakko Paalasvuo, B. C., Beach London, and Victory Press, 2011 (<http://pooool.info/i-am-such-a-failure-poetry-on-around-and-about-the-internet>).

¹¹⁴ Признавая проблематичность понятия «поколение» (полезные соображения об этом термине и его теоретической «скользкости» см.: *Strauss W., Howe N. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. New York: Morrow, 1991), я все же полагаю, что, с одной стороны, Пригов, Сорокин и некоторые их ровесники (Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский), а с другой – ряд писателей приблизительно одного, более молодого возраста (Дмитрий Воденников и Сергей Кузнецов, например) и блогеры, о которых говорится в четвертой главе, составляют два следующих друг за другом поколения.

¹¹⁵ *Roth-Ey K. Moscow Prime Time: How the Soviet Union Built the Media Empire That Lost the Cultural Cold War*. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 2011.

ведут к дегуманизации и этой тенденции следует противодействовать, делая упор на искренности в онлайн-письме и искусстве.

Как соотносятся искренность и дигитализация в дискуссиях, демонстрирующих эти противоположные точки зрения? И как соотносится искренность с такими важнейшими для данных дискуссий понятиями, как дилетантизм, несовершенство и мастерство? Обращаясь к этим вопросам в четвертой главе, я не сосредотачиваюсь, как во второй и третьей главах, на каком-то одном авторе. Вместо этого я пытаюсь описать множество тех онлайн-«продюзеров» (как специалист в области медиа Алекс Брунс называет деятелей онлайн-эпохи, когда «различие между продюсерами и юзерами (потребителями контента) стало сравнительно несущественным»¹¹⁶), которые используют онлайн-инструменты для распространения своих представлений об искренности.

Глава четвертая, так же как и предыдущие, содержит не просто обзор литературы по изучаемому вопросу. Противопоставляя друг другу точки зрения различных участников дискуссии, она проблематизирует существующие взгляды на медиализацию и подлинность. Современные споры о нашем «медиализованном» мире – вспоминая предложенное Томасом де Дзенготитой популярное описание сегодняшнего насыщенного медийностью общества¹¹⁷ – тяготеют к представлению этого мира как поразительно гомогенного явления. При обсуждении «глобальной» медиасреды они обычно имеют в виду исключительно англо-американские медийные источники. А когда исследователи критикуют предпочтение *нашими* медиа не правды, а «правдоподобия» (или *truthiness*, – словечко, придуманное американским сатириком Стивеном Кольбером для передачи ощущения правды, не нуждающегося в фактическом подтверждении¹¹⁸), то эта критика опирается, как правило, исключительно на североамериканские примеры. Ключевые исследования нашей медийной культуры, одним словом, часто претендуют на универсальность, полностью игнорируя лингвокультурные идиосинкразии.

В четвертой главе я пытаюсь выйти за пределы западных парадигм и проявлять межкультурную чуткость при обсуждении новых медиа, реальности и аффектов. Главное – я решительно не согласна с позицией, при которой преимущество получает концептуальный двойник искренности – подлинность (*authenticity*)¹¹⁹. Если в «западной» науке на первый план выступает дискурс по проблеме отношений между *подлинностью* и технологиями, то это вовсе не отменяет богатой дискурсивной истории по проблеме отношений между *искренностью* и технологизацией (об этой истории я подробно говорю в первой главе). В четвертой главе я обращаюсь к недавним спорам об обоих типах отношений. Как мы увидим, в постсоветском пространстве те, кто задумывается о воздействии новых медиа на нашу жизнь, выказывают особый интерес не к подлинности, а к соотносимому с этим концептом понятию, за которым в России стоит столь насыщенная история: искренности.

¹¹⁶ Bruns A. *Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Producership*. New York: Peter Lang, 2008. P. 2. О «культурах соучастия» см.: Clinton K., Jenkins H., Purushotma R., Robison A. J., Weigel M. *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. 2009 (https://www.macfound.org/media/article_pdfs/jenkins_white_paper.pdf).

¹¹⁷ de Zengotita Th. *Mediated: How the Media Shapes Your World and the Way You Live in It*. New York: Bloomsbury, 2005.

¹¹⁸ Об использовании Кольбером этого понятия см.: Zimmer B. *Truthiness or Trustiness?* // *Language Log*. 2005. October 26 (<http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/002586.html>).

¹¹⁹ Нэнси Бэйм дает обоснование этому понятию в своей работе: Baym N. *Personal Connections in the Digital Age*. Cambridge: Polity Press, 2011; то же делают и другие авторы, см.: Gilmore J. H., Pine II B. J. *Authenticity: What Consumers Really Want*. Boston: Harvard Business School Press, 2007.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКРЕННОСТИ

Учитывая широкую представленность «новой искренности» в культурной индустрии и поп-культуре, не вызывает удивления то, что различные точки зрения по этому вопросу начинают проникать и в академические круги. Уже с начала 1990-х годов – когда ученые впервые задались вопросом, «что следует за постмодернизмом?» (или «в какие новые формы он трансформируется?»), – искренность стала восприниматься как ключевая парадигма специалистами в самых различных областях, от дизайна до теологии¹²⁰. И как только теоретики стали обсуждать черты «постпостмодерна», «позднего постмодерна» или «неомодерна», понятие искренности встало в один ряд с семантически родственными ему, важнейшими для современной культуры концептами: подлинностью (*authenticity*), этикой и (нео-, пост- и даже «грязным») реализмом¹²¹.

Спешу добавить, что «искренность» далеко не новый предмет для теоретизирования. Как показывают классические исследования этого понятия, предпринятые Лайонелом Триллингом и Анри Пейр, критические суждения об искренности восходят по крайней мере к культуре Ренессанса¹²². В более поздних работах ученые стали возводить критическую философскую рефлексию об этом понятии – и о его китайском собрате, «чэн» – к еще более ранним временам, вплоть до Конфуция¹²³.

¹²⁰ Первое ширококомасштабное научное обсуждение проблемы произошло в 1991 году на Штутгартском семинаре по культурологическим исследованиям, который назывался «Конец постмодернизма: новые направления» (см.: *Ziegler H. (ed.) The End of Postmodernism: New Directions. Proceedings of the First Stuttgart Seminar in Cultural Studies, 04.08–18.08.1991. Stuttgart: M & P, 1993*). Среди других важных исследований: *Smith T., Enwezor O., Condee N. (eds) Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity. Durham, N. C.: Duke University Press, 2009*; *Turner T. City as Landscape: A Post-Postmodern View of Design and Planning. London: Taylor & Francis, 1995*; *Scharg C. O. The Self after Postmodernity. New Haven: Yale University Press, 1997*; *Braidotti R. A Cartography of Feminist Post-Postmodernism // Australian Feminist Studies. 2005. № 20 (47). P. 169–180*; *Harris W. V. (ed.) Beyond Poststructuralism: The Speculations of Theory and the Experience of Reading. University Park: Penn State University Press, 1996*; *López J., Potter G. (eds) After Postmodernism: An Introduction to Critical Realism. New York: Athlone, 2001*; *Rebein R. Hicks, Tribes, and Dirty Realists: American Fiction after Postmodernism. Lexington: University Press of Kentucky, 2001*; *Stierstorfer K. (ed.) Beyond Postmodernism: Reassessments in Literature, Theory, and Culture. Berlin: De Gruyter, 2003*; *Brooks N., Toth J. (eds) The Mourning After: Attending the Wake of Postmodernism. Amsterdam: Rodopi, 2007*; *Hoberek A. (ed.) After Postmodernism // Twentieth-Century Literature (Special issue). 2007. № 53 (3)*; *Timmer N. Do You Feel It Too? The Post-Postmodern Syndrome in American Fiction at the Turn of the Millennium. Amsterdam: Rodopi, 2010*; *Vaessens Th., van Dijk Y. (eds) Reconsidering the Postmodern. Из теоретических работ, касавшихся постпостмодернистской искренности, см.: Cioffi F. L. Postmodernism, Etc.: An Interview with Ihab Hassan // Style. 1999. № 33 (3). P. 357–371*; *Caputo J. D. The Weakness of God: A Theology of the Event // Brooks N., Toth J. Op. cit. P. 285–302*; *Eshelman R. Performatism, or the End of Postmodernism // Anthropoetics. 2001. № 6 (2) (www.anthropoetics.ucla.edu/ap0602/perform.htm)*. Отрывки из последней работы, «Перформатизм», где Эшельман обосновал идеи об искренности, публиковались с 2001 года; *Gilmore J. H., Pine II B. J. Authenticity; den Dulk A. Voorbij de doelloze ironie: De romans van Dave Eggers en David Foster Wallace vergeleken met het denken van Søren Kierkegaard // Derksen L., Koster E., van der Stoep J. (eds) Het postmodernisme voorbij? Amsterdam: VU University Press, 2008. P. 83–99*.

¹²¹ Вот ряд представительных работ, касающихся последних трех понятий: *Anton C. Selfhood and Authenticity. Albany: New York University Press, 2001*; *Gilmore J. H., Pine II B. J. Authenticity; Straub J. (ed.) Paradoxes of Authenticity: Studies on a Critical Concept. Bielefeld: Transcript, 2012*; *Foster H. The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996*; *Farrell F. B. Subjectivity, Realism, and Postmodernism: The Recovery of the World in Present Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1996*; *López J., Potter G. (eds) Op. cit.*; *Rebein R. Op. cit.*; *Polanyi M., Rorty R. Postmodern Ethics // Southern Humanities Review. 1995. № 29 (1). P. 15–34*; *Thacker J. Postmodernism and the Ethics of Theological Knowledge. Aldershot: Ashgate, 2007*.

¹²² Многие исследования обсуждаются в первой главе, но два из них наиболее важны для меня: *Trilling L. Sincerity and Authenticity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971*; *Peyre H. Literature and Sincerity. New Haven: Yale University Press, 1963*.

¹²³ См. среди прочего: *Korthals Altes L. Sincerity, Reliability and Other Ironies – Notes on Dave Eggers' «A Heartbreaking Work of Staggering Genius» // D'Hoker E., Martens G. (eds) Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel. Berlin: Walter de Gruyter, 2008. P. 107–128*; *An Yanming. The Idea of Cheng (Sincerity/Reality) in the History of Chinese Philosophy. New York: Global Scholarly Publications, 2008*; *Bretzke J., Sim L. The Notion of Sincerity (Ch'eng) in the Confucian Classics // Journal of Chinese Philosophy. 1994. № 21. P. 179–212*.

В наши дни многие теоретики переосмысливают подобные исторические исследования искренности – и обращаются при этом скорее к будущему, чем к прошлому. С начала 1990-х годов и до нашего времени немало культурологов утверждало, что в современном обществе понятие искренности требует постпостмодернистского или какого-то иного теоретического переопределения. О необходимости подобного переосмысления говорят специалисты в самых разных академических областях – от юриспруденции до киноведения – и в самых разных регионах мира, от Китая до Ирана. Обращает на себя внимание сборник статей «Риторика искренности» (2009), который издали Эрнст ван Алфен, Мике Бал и Кэрол Смит. В него вошли работы по критической теории, литературе, театру, искусству, юриспруденции, а также другим областям и дисциплинам. Большая работа Адама Зелигмана, Роберта Уэллера, Майкла Пуэтта и Беннета Саймона посвящается ритуалу и искренности (2008). В книге Тимоти Майлнса и Керри Шинанан «Романтизм, искренность и подлинность» (2010) предлагается воскресить искренность (и подлинность) в качестве инструмента понимания романтизма. В работе Р. Джей Мэгила-младшего «Искренность» (2012) объясняется (уже в подзаголовке), «как моральный идеал, возникший пять веков назад, инспирировал религиозные войны, современное искусство, хипстерский шик и удивительное убеждение, что каждому из нас есть что сказать (неважно, насколько скучно)». Искренность также подробно изучается в работах таких ученых, как Уильям Биман (анализирующий искренность с точки зрения лингвистики), Ан Янминь, Алейда Ассман, Клаудиа Бентъен и Штефен Мартус, Аллард ден Далк, Адам Келли, Лисбет Кортхалс Алтес и Сьюзен Розенбаум (все эти исследователи рассуждают об искренности в истории литературы и философии), Джон Джексон (в антропологии), Джим Коллинз, Дэвид Фостер Уоллес, Патрик Гарлингер, Флориан Гросс, Бартон Палмер, Эфрат Цзеелон (в кино, литературе, телевидении и критической теории), Мэтью Викандер (в театре), Юпин Чанг и Томас Якоби, Борис Гройс (в визуальных искусствах и медиа), Дженнифер Эштон, Эндрю Чен, Кэти Хенриксен (в новых медиа), Аманда Андерсон, Элизабет Марковиц, Грег Майерс (в медиа и политике), Кристи Уэмпоул, Джонатан Д. Фицджералд (в поп-культуре), Майкл Коркоран, Чак Клостерман (в поп-музыке) и Сандра Гоунтас и Феликс Мавондо (в маркетинге)¹²⁴.

¹²⁴ Bal M., Smith C., van Alphen E. (eds) *The Rhetoric of Sincerity*. Stanford: Stanford University Press, 2009; Puett M. J., Seligman A. B., Simon B., Weller R. P. *Ritual and Its Consequences: An Essay on the Limits of Sincerity*. Oxford: Oxford University Press, 2008; Milnes T., Sinanan K. (eds) *Romanticism, Sincerity, and Authenticity*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010; Magill Jr. J. R. *Sincerity: How a Moral Ideal Born Five Hundred Years Ago Inspired Religious Wars, Modern Art, Hipster Chic, and the Curious Notion That We All Have Something to Say (No Matter How Dull)*. New York: Norton, 2012; Beeman W. O. *Emotion and Sincerity in Persian Discourse: Accomplishing the Representation of Inner States* // *International Journal of Sociology of Language*-publication. 2001. № 148. P. 31–57; An Yanming. *The Idea of Cheng: Assmann A. Authenticity – the Signature of Western Exceptionalism?* // Straub J. (ed.) *Paradoxes of Authenticity: Studies on a Critical Concept*. Bielefeld: Transcript, 2012. P. 33–57; den Dulk A. *Over de drempel: Voorbij de postmoderne impasse naar een zelf bewust engagement. De literaire zoektocht van Dave Eggers vergeleken met het denken van Friedrich Nietzsche en Albert Camus*. The Hague: Allard den Dulk, 2004; Kelly A. *David Foster Wallace and the New Sincerity in American Fiction* // Hering D. (ed.) *Consider David Foster Wallace: Critical Essays*. Los Angeles: Sideshow, 2010. P. 131–147; Korthals Altes L. *Blessedly post-ironic? Enkele tendensen in de hedendaagse literatuur en literatuurwetenschap*. Groningen: E. J. Korthals Altes, 2001; *Idem*. *Sincerity, Reliability and Other Ironies – Notes on Dave Eggers' «A Heartbreaking Work of Staggering Genius»* // D'Hoker E., Martens G. (eds) *Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel*. Berlin: Walter de Gruyter, 2008. P. 107–128; Rosenbaum S. *Professing Sincerity: Modern Lyric Poetry, Commercial Culture, and the Crisis in Reading*. Charlottesville: University of Virginia Press, 2007; Jackson J. *Real Black: Adventures in Racial Sincerity*. Chicago: University of Chicago Press, 2005; Collins J. *Over de drempel in the 90s: Eclectic Irony and the New Sincerity* // Collins A. P., Collins J., Radner H. (eds) *Film Theory Goes to the Movies*. New York: Routledge, 1993. P. 242–264; Wallace D. F. *E Unibus Pluram: Television and U. S. Fiction* // *Review of Contemporary Fiction*. 1993. № 31 (2). P. 151–195; Gross F. «Brooklyn Zack Is Real»: Irony and Sincere Authenticity in *30 Rock* // Funk W., Gross F., Huber I. (eds) *The Aesthetics of Authenticity*. Bielefeld: Transcript, 2012. P. 237–260; Garlinger P. *All about Agrado, Or the Sincerity of Camp in Almodóvar's Todo Sobre Mi Madre* // *Journal of Spanish Cultural Studies*. 2004. № 5 (1). P. 117–134; Barton P. R. *The New Sincerity of Neo-Noir: The Example of the Man Who Wasn't There* // Conard M. T. (ed.) *The Philosophy of Neo-Noir*. Lexington: University Press of Kentucky, 2006. P. 151–167; Tseëlon E. *Is the Present Self Sincere? Goffman, Impression Management and the Postmodern Self* // *Theory, Culture and Society*. 1992. № 9 (2). P. 115–128; Wikander M. *Fangs of Malice: Hypocrisy, Sincerity, and Acting*. Iowa City: Iowa University Press, 2002; Chung Yupin, Jacobi Th. *In Search of a New Sincerity? Contemporary Art from China* // *Workshop for Tate Liverpool*. 2007. April 21; Ashton J. *Sincerity and the Second Person: Lyric after Language Poetry* // *Interval(1e)s*. 2008–2009. № 2–3 (http://labos.ulg.ac.be/cipa/wp-content/uploads/sites/22/2015/07/8_ashton.pdf); Chen A. *New Sincerity in a Postmodern World* // *The Midway Review: A Journal*

Я не случайно привожу этот длинный список имен. Сама его величина превосходно показывает, насколько востребованна в наше время искренность в качестве темы научной рефлексии. Мой список также демонстрирует, почему понятие новой искренности привлекает всеобщее внимание именно сегодня: ученые охотно анализируют его как реакцию либо на постмодернизм, либо на (новую) медиакультуру¹²⁵.

Нет ничего удивительного в том, что, привлекая столь широкое внимание ученых, исследования «новой искренности» достаточно быстро институционализируются. Семинары и статьи, посвященные этому тренду, прокладывают себе дорогу в престижные научные издательства и музеи¹²⁶. В каждом из пяти университетов, где мне довелось учиться или работать во время написания этой книги, изучение новой искренности – независимо от моих собственных занятий – либо являлось предметом преподавания, либо обсуждалось на семинарах и конференциях¹²⁷. В области славистики – той области исследований, с которой я знакома ближе всех, – данная тема также обрела вес. «Новая искренность» вызвала особый интерес на Славистском форуме 2001 года, а в 2008 и 2009 годах на конференциях AAASS (теперь переименованной в ASEES) – главных форумах специалистов по России, Евразии, Центральной и Восточной Европе – проходили секции, озаглавленные «Искренность и голос» и посвященные современной русской поэзии¹²⁸.

Несмотря на растущее увлечение данной темой в академических кругах, до сего дня нет всеобъемлющего культурологического исследования риторики новой искренности. Данная книга – моя попытка предложить такой анализ. В ней я не только сопоставляю большое число

of Politics and Culture. 2009. № 4 (2) (Performatism.uchicago.edu/archives/WQ09.pdf); *Anderson A.* The Way We Argue Now: A Study in the Cultures of Theory. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2006; *Groys B.* Unter Verdacht: Eine Phänomenologie der Medien. München: Carl Hanser, 2000; *Markovits E.* The Politics of Sincerity: Plato, Frank, and Democratic Judgment. University Park: Penn State University Press, 2008; *Myers G.* Entitlement and Sincerity in Broadcast Interviews about Princess Diana // *Media, Culture and Society*. 2000. № 22 (2). P. 167–185; *Wampole Ch.* How to Live without Irony // *New York Times*. 2012. November 17 (<http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/11/17/how-to-live-without-irony/>); *Fitzgerald J. D.* Not Your Mother's Morals: How the New Sincerity Is Changing Pop Culture for the Better. Colorado Springs: Bondfire Books, 2012; *Corcoran M.* The New Sincerity: Austin in the Eighties // *Corcoran M.* All over the Map: True Heroes of Texan Music. Austin: University of Texas Press, 2005. P. 150–157; *Klosterman Ch.* The Carly Simon Principle: Sincerity and Pop Greatness // *Weisbard E. (ed.) This Is Pop: In Search of the Elusive at Experience Music Project*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004. P. 257–265; *Gountas S., Mavondo F.* Emotions, Sincerity and Consumer Satisfaction // *Purchase S. (ed.) ANZMAC 2005 – Broadening the Boundaries: Conference Proceedings*. Fremantle: UWA, 2005. P. 82–88.

¹²⁵ Это справедливо по отношению к работам, написанным Мэгиллом-младшим, ден Далком, Кортхалс Алтес, Келли, Коллинзом, Гроссом, Бартоном Палмером, Чангом и Якоби, Эштон, Ченом и Коркораном.

¹²⁶ Упомянутый выше семинар Чанг и Якоби, посвященный нашему понятию, происходил в музее «Тэйт Ливерпуль»; исследования новой искренности, которые я перечисляю, публиковались в «Раутледже» и издательствах университетов Оксфорда, Кентукки, Техаса и др.

¹²⁷ В конце 2000-х годов новая искренность обсуждалась в бакалаврских и магистерских курсах Томасом Вассенсом в Университете Амстердама, Лисбет Кортхалс Алтес – в Университете Гронингена, Робертом Макфарлейном – в Кембридже. В Университете Лейдена тема затрагивалась на конференции, посвященной риторике и искренности, по итогам которой был издан сборник: *Bal M., Smith C., van Alphen E. (eds)* The Rhetoric of Sincerity. В то же время в Университете Бергена та же тема обсуждалась по крайней мере на двух гостевых лекциях, одну из которых читал Алексей Юрчак, а другую – Дирк Уффельман; обе происходили в рамках исследовательского проекта, посвященного постсоветской языковой культуре (см. тезисы: www.hf.uib.no/i/russisk/landslide/guestlectures.html).

¹²⁸ См. анонсы Славистского форума: http://www.aatseel.org/resources/resources_research/2001_conf_details. Секция на AAASS была отменена по техническим причинам в 2008 году и вновь организована в 2009 году. Ее название – «Искренность и голос: современная русская поэзия на бумаге и в песне»; в ее рамках проходили доклады, касавшиеся искренности в поэзии Бориса Рыжего (Стюарт Голдберг и Мартин Дотри) и «новой парадигмы» в русской поэзии (Бригитта Обермайр). Полное описание секции см. в онлайн-программе конференции на сайте: <https://www.aseees.org/sites/default/files/downloads/2008program%20updated.pdf> и <https://www.aseees.org/sites/default/files/u29/2009program.pdf>. Инцидент, произошедший в сфере нидерландской литературы, даже в большей степени, чем ситуация в моей области, свидетельствует о том, как крепко укореняется понятие новой искренности в академических и литературных институтах. Этот случай связан с именем амстердамского профессора литературы Томаса Вассенса, пропагандировавшего понятие «позднего постмодернизма», которое он связывает с возрождающейся искренностью. Вассенса, который является также председателем жюри известной в Голландии литературной премии, в 2009 году обвинили в том, что он злоупотребляет своей академической властью, номинируя на «свою» премию только книги, которые соответствуют его критериям «позднего постмодернизма» и «новой искренности» (см. подробнее: *Peters A.* Een rebelse mandarijn // *Volkskrant*. 2009. April 17. P. 33).

западных и незападных авторских голосов, но и описываю развитие риторики новой искренности и, наконец, показываю, какое влияние эта риторика оказывает на современные творческие круги.

Этой попытке поставить вопрос о новой искренности в такой всеобъемлющей перспективе я глубоко обязана своим коллегам, работающим в смежных гуманитарных и социальных областях. В последние годы и в тех, и в других наблюдается всплеск интереса к эмоциям и аффектам¹²⁹. В данной книге я с благодарностью учитываю идеи, высказанные специалистами по истории эмоций. Искренность, правда, как правильно заметил один из исследователей, «не является сама по себе аффективным состоянием... Это, скорее, оценка, которую дают адресаты высказываниям адресантов, полагая, что те правдиво выражают свои чувства и эмоциональные состояния... Искренность, таким образом, есть парадоксальное аффективное выражение, в котором присутствие или отсутствие данного качества в конечном счете утверждается не субъектом высказывания, а теми, к кому оно обращено»¹³⁰. Другими словами, искренность не является эмоциональным состоянием, однако это понятие укоренено в *сфере* чувств и эмоций.

Именно поэтому понятие искренности фигурирует во множестве недавних исследований эмоций в качестве предмета исторического анализа¹³¹. Эти исследования отрицают взгляд на эмоции как на локализованные в человеке психологические состояния. «Эмоции, – пишет ведущий теоретик эмоций Сара Ахмед, – следует рассматривать не как психологические состояния, а как социокультурные практики», которые могут действовать в качестве «фактора, формирующего политику или мир в целом»¹³². Новые теоретические интерпретации искренности следуют этому тезису Ахмед, когда оспаривают классические взгляды на искренность как на «выражение вовне внутреннего состояния, так чтобы другие могли стать этому свидетелями»¹³³. Это традиционное определение опирается на жесткие бинарные оппозиции внутренне-личностного и внешне-телесного. Сегодня исследователи выступают за иное понимание термина, при котором искренность и театральность оказываются не диаметрально противоположны, а тесно переплетены¹³⁴. Они стараются, говоря словами культурологов Мике Бал и Эрнста ван Алфена, защитить понятие искренности от «дуалистического представления о правильном и неправильном», постулируя, что «суть искренности не в том, чтобы „быть“ (*being*) искренним, а в том, чтобы „производить“ (*doing*) искренность»¹³⁵. В основе моего исторического анализа также лежит интерес к тому, что искренность «делает» и как она «работает», а не к тому, чем она «является».

¹²⁹ Полезный обзор работ в относительно молодой исследовательской области истории или социологии эмоций (как в международном аспекте, так и в рамках славистики) см.: *Plamper J. Emotional Turn? Feelings in Russian History and Culture: Introduction // Slavic Review. 2009. № 68 (2). P. 229–238.* В качестве «привета» новорожденной дисциплине подзаголовок моей книги переключается с важнейшей работой в данной области – «Страхом» Джоанны Бурк (*Bourke J. Fear: A Cultural History. London: Shoemaker & Hoard, 2005*).

¹³⁰ *Beeman W. O. Emotion and Sincerity in Persian Discourse.*

¹³¹ Много внимания уделено этому понятию, например, в работе: *Reddy W. M. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 2001*, а также в: *Сафронова Ю. Смерть государя // Плампер Я., Шахадат Ш., Эли М. (ред.) Российская империя чувств: подходы к культурной истории эмоции: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 166–184.*

¹³² *Ahmed S. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004. P. 9, 12.* См. также: *Reddy W. M. Op. cit.*

¹³³ *Bal M., Smith C., van Alphen E. (eds) The Rhetoric of Sincerity. P. 3.*

¹³⁴ Программное обсуждение такого подхода см.: *Ibid. P. 3–6; Rosenbaum S. Professing Sincerity. P. 12–13.*

¹³⁵ *Bal M., Smith C., van Alphen E. (eds) The Rhetoric of Sincerity. P. 16.*

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКРЕННОСТИ: ПОСТСОВЕТСКИЙ АНАЛИЗ

Современные интерпретации искренности существенно обогатили прежние понимание этого явления. Однако им не хватает другого типа рефлексии. Эти прочтения обычно предполагают, что обсуждение по-новому понимаемой искренности может ограничиться Западной Европой и Соединенными Штатами. С помощью этой книги я надеюсь расширить дискуссию о новой искренности до более широкого транснационального масштаба. Я уже упоминала Китай и Болгарию. Просматривая существующую литературу по данной теме, я наткнулась на антологию современной индонезийской поэзии, построенную вокруг темы «Поэзия и искренность». В похожем на манифест новой искренности «Введении» редакторы выступают за «очищение» в современном глобализованном мире тех слов, которые «окружают нас, слов, которые убивают, и слов, которые были убиты» за счет прививания им... «искренности»¹³⁶.

Вопреки мнениям многих знатоков дискурса новой искренности, оптимальное место для начала изучения этого дискурса обнаруживается далеко в стороне от англо-американского мира. Не там, а именно в России 1950-х годов термин «искренность» получил (и с тех пор никогда не терял) статус социально значимого слова; именно в России в самые первые годы перестройки литераторы ввели в оборот выражение «новая искренность», которое широко используется и по сей день; именно в России блогеры охотно пользуются этим выражением для создания своей идентичности.

Упор на российских блогах, литераторах и критиках является моим вкладом в дело интеграции не-западноевропейских и не-американских культур в академическое обсуждение постпостмодернистского дискурса. И это важная цель: теоретические дебаты о позднем постмодернизме или постпостмодернизме в России идут весьма активно. Более того, вопрос «Что следует за постмодернизмом?» изначально являлся частью российских дискуссий о постмодернизме. В России понятие «постмодернизм» стало более-менее широко распространяться только в начале 1990-х годов¹³⁷ – и, помимо традиционалистского отвержения постмодернистских установок, «критическая война»¹³⁸ против него сразу включала в себя достаточно мощную самокритику. Множество российских художников и критиков, поначалу приветствовавших постмодернистский опыт, предпочли «преодолеть» его (или, как Анатолий Осмоловский, начать концептуализировать искусство «после постмодернизма», см. илл. 3) сразу после того, как он был осознан в качестве полноценной теоретической парадигмы.

¹³⁶ Sarjono A. R. Poetry and Sincerity // Sarjono A. R., Mooij M. (eds) Poetry and Sincerity: International Poetry Festival Indonesia 2006. Jakarta: Cipta, 2006. P. 9.

¹³⁷ По словам литературного критика Вячеслава Курицына, постмодернизм был «главной темой литературной критики» в первой половине 1990-х (см. в заключении книги: Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М.: ОГИ, 2000 (www.guelman.ru/slava/postmod/9.html)).

¹³⁸ Цит. по: Kukulin I., Lipovetsky M. Post-Soviet Literary Criticism // Dobrenko E., Tihanov G. (eds) A History of Russian Literary Theory and Criticism: The Soviet Age and Beyond. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011. P. 293. В этой статье авторы дают полезный обзор проходивших в 1990-х годах дискуссий о постмодернизме в России (Ibid. P. 292–295), хотя и не упоминают существенной роли, которую сыграл в этих дискуссиях сам Липовецкий.



Илл. 3. Акустическая фотоинсталляция Анатолия Осмоловского «После постмодернизма остается только орать» (1992). (С разрешения www.ostopolis.ru)

Примерно с середины 1990-х годов мысль о том, что постмодернизм – или его образцовый советский вариант, московский концептуализм, – либо мертв, либо мутирует в новые формы, получила широкое распространение среди таких российских теоретиков, как Марк Липовецкий, Михаил Айзенберг, Михаил Эпштейн, Наталья Иванова и Вячеслав Курицын¹³⁹. В 1994 году понятие «смерть постмодернизма» было буквально доведено до предела художником Александром Бренером: посредством голодовки он потребовал, среди прочего, положить конец постмодернизму, поставив ультиматум: «он или я»¹⁴⁰.

Бренер вскоре прекратил голодовку, однако понятие позднего постмодернизма или пост-постмодернистской культурной эпохи в литературе (а также в кино, визуальных искусствах и

¹³⁹ См. среди прочего: *Лейдерман Н., Липовецкий М.* Жизнь после смерти, или новые сведения о реализме // *Новый мир*. 1993. № 7 (https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1993/7/zhizn-posle-smerti-ili-novye-svedeniya-o-realizme.html); *Айзенберг М.* Возможность высказывания // *Знамя*. 1994. № 6. С. 191–198; *Эпштейн М.* Прото-, или Конец постмодернизма // *Знамя*. 1996. № 3. С. 196–209; *Курицын В.* Время множить приставки: К понятию постмодернизма // *Октябрь*. 1997. № 7. С. 178–183. О проблеме выхода за пределы постмодернизма см. выступления с консервативных позиций Н. Ивановой и других на круглом столе «Литература последнего десятилетия» в журнале «Вопросы литературы» в 1998 году (*Бирюков С.* Литература последнего десятилетия – тенденции и перспективы <Интервью> // *Вопросы литературы*. 1998. № 2. С. 3–83).

¹⁴⁰ Моя информация основана на рассказе Макса Фрая в чате «Салон интеллектуального общения» 10 апреля 2000 года (www.teneta.ru/archive-chat-2000/Apr10.html).

новых медиа) стало все чаще появляться в научных публикациях к концу 1990-х годов. Российские учебники и университетские курсы по современной русской литературе также стали уделять внимания поздне- и постпостмодернистским тенденциям¹⁴¹, и в промежутке между концом 1990-х годов и сегодняшним днем те же тенденции обнаружились и в монографических исследованиях постмодернизма¹⁴². Наиболее заметный пример – «Паралогии» Марка Липовецкого (2008), часто цитируемое исследование «(пост)модернистского дискурса» в российском искусстве, литературе и кино. В этой книге автор рассматривает Россию как испытательную площадку, на которой проходит проверку на прочность гипотеза, предложенная Доуве Фоккемой: «поздний постмодернизм» – это «цезура» между ранней, радикально-релятивистской, и позднейшей, менее антимодернистской, фазами постмодерна¹⁴³. Как и Фоккема, Липовецкий критически настроен по отношению к концепциям о смерти постмодернизма, однако его определение позднего постмодернизма вступает в активный диалог с подобными концепциями¹⁴⁴.

Работа Липовецкого представляет собой образец насыщенного дискурса позднего постмодернизма или постпостмодернизма в постсоветской России. Число русскоязычных работ по постпостмодернизму оказалось весьма велико, и дебатам о новой искренности в них уделялось большое внимание. В 1990-х годах Михаил Эпштейн, Надежда Маньковская и Светлана Бойм единодушно указывали на эти дебаты как на важную тенденцию в теоретическом анализе современной культуры¹⁴⁵. Сам Липовецкий упоминал понятие «новая искренность» в своем вышедшем в 1999 году исследовании постмодернистской прозы, когда говорил о кризисе постмодернизма и «поиске искренней интонации» в современной литературе¹⁴⁶. В «Паралогиях» он принял более скептическую точку зрения, однако в то же время выделил «новую искренность» из большого числа разнообразных постпостмодернистских трендов и дал странную критическую оценку именно этой риторической тенденции¹⁴⁷. И в этом он был не одинок: в 2000-х годах выражение «новая искренность» постоянно появлялось на страницах российских журналов. Их авторы иногда отвергали ее («Новая искренность была изобретена ни на что не годными критиками и поэтами»), а иногда восхваляли («Именно в нем заключен ответ постмодернизму»), но в любом случае трактовали его как неизбежный, хотя и проблематичный компонент современной культуры¹⁴⁸. К началу 2010-х годов представление о недавно

¹⁴¹ См., например: *Межусева М., Конрадова Н.* Окно в мир: Современная русская литература. М.: Русский язык, 2006; *Скоропанова И.* Русская постмодернистская литература. С. 528.

¹⁴² См., например: *Липовецкий М.* Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики. Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 1997; *Маньковская Н.* От модернизма к постпостмодернизму via постмодернизм // Коллаж-2. М.: ИФ РАН, 1999, а также раздел «Постпостмодернизм» в кн.: *Маньковская Н.* Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. С. 307–328; заключение книги: *Курицын В.* Русский литературный постмодернизм; перепечатки статей Эпштейна о постпостмодернизме и конце постмодернизма в его книге: *Эпштейн М.* Постмодерн в России. М.: Изд-во Р. Элинина, 2002. См. также английские переводы: *Lipovetsky M.* Russian Postmodernist Fiction: Dialogue with Chaos. New York: M. E. Sharpe, 1999. P. 244–247; *Epstein M.* After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995; *Epstein M. N., Genis A. A., Vladiv-Glover S. (eds)* Russian Postmodernism: New Perspectives on Post-Soviet Culture. New York: Berghahn, 1999.

¹⁴³ О позднем постмодернизме см.: *Fokkema D.* The Semiotics of Literary Postmodernism // *Bertens J., Fokkema D. (eds)* International Postmodernism. Amsterdam: John Benjamins, 1997. P. 15–43.

¹⁴⁴ *Липовецкий М.* Паралогии: трансформации (пост)модернистского дискурса в культуре 1920–2000-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

¹⁴⁵ *Эпштейн М.* Каталог новых поэзий // Современная русская поэзия после 1966 г.: Двухязычная антология. Berlin: Oberbaum, 1990. С. 359–367; *Маньковская Н.* Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. С. 326–327; *Boym S.* Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994. P. 102.

¹⁴⁶ *Lipovetsky M.* Russian Postmodernist Fiction. P. 244, 247.

¹⁴⁷ *Липовецкий М.* Паралогии. С. 572–613.

¹⁴⁸ Помимо написанных в середине 1990-х годов статей Эпштейна и Липовецкого, которые были включены в переработанном виде в их книги, см. также: *Натаров Е.* Тимур Кибиров: обзор критики // Литературное обозрение. 1998. № 1. С. 38–40; *Костюков Л.* Посторонние соображения <рец. на: *Бак Д. (ред.)* Genius loci: современная поэзия Москвы и Петербурга. М., 1999> // Дружба народов. 2000. № 6. С. 210–215; *Куклини И.* Every Trend Makes a Brand // Новое литературное

возникшей постсоветской искренности проникло и в зарубежные исследования о России, а также в учебники по современной русской литературе¹⁴⁹. Насколько оно стало канонизироваться в литературоведении, показывает выбор Сергея Чуприна, который в 2007 году включил отдельную статью о «новой искренности» в предназначенный для массового читателя словарь современных литературных терминов¹⁵⁰.

Споры о возрожденной посткоммунистической искренности получили распространение в удивительно широком диапазоне дисциплин. Объявляя о возрождении искренности, критики сосредотачивались в основном на литературных событиях, как мы увидим во второй, третьей и четвертой главах. Однако они обращались также и к другим областям культуры. Эпштейн заимствует свои примеры «новой искренности» не только из литературы, но и из визуальных искусств. Историки искусств и арт-критики Владислав Софронов, Валерий Савчук, Марина Колдобская и Екатерина Деготь указывают на то, что новый акцент на искренности делается в России именно в сфере современного искусства¹⁵¹. Алексей Юрчак в своем антропологическом анализе «постпосткоммунистической искренности» предусматривает ее проявления в постсоветских мультфильмах и электронной музыке¹⁵². Кроме того, искренность стала излюбленным объектом теоретической рефлексии теоретиков новых медиа – той области, о которой мы подробно поговорим в четвертой главе.

Одним словом, в современной России ведется мощный дебат о постпостмодернизме и риторике новой искренности. В дальнейшем я предлагаю междисциплинарный анализ этой дискуссии. Подобный анализ позволит нам рассмотреть, что его проявления во множестве различных дисциплин, подходов и временных промежутков могут нам сказать о постсоветской жизни в целом.

обозрение. 2002. № 56 (magazines.russ.ru/nlo/2002/56/kuk1.html); Уланов А. Сны о чем-то большом // Дружба народов. 2002. № 2 (<https://magazines.gorky.media/druzhba/2002/2/sny-o-chem-to-bolshe-2.html>); Давыдов Д. Дмитрий Воденников, Светлана Лин: Вкусный обед для равнодушных кошек // Критическая масса. 2005. № 2 (magazines.russ.ru/km/2005/2/dd19-pr.html); Везьян Е. Память моментам // Новый мир. 2009. № 7 (https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2009/7/pamyat-momentam.html); Каспэ И. Говорит тот, кто говорит «я»: вместо эпилога // Новое литературное обозрение. 2009. № 96 (<http://magazines.russ.ru/nlo/2009/96/ka28-pr.html>); Куллэ В. «Новая искренность» по-итальянски (О стихах Альдо Онорати) // НГ Ex Libris. 2004. № 42. С. 4. Открыто критический и уничижительный взгляд выражен, среди прочих, в статье: Иванова Е. Молодая поэзия в поисках живого слова // Континент. 2007. № 133. С. 419–430. Положительные оценки см., например, в выступлении Н. Ивановой в изд.: Бирюков С. Литература последнего десятилетия – тенденции и перспективы. С. 12–13; Бондаренко М. Роман В. Сорокина «Лед»: сюжет – аттракцион – идеология – новая искренность – катафатическая деконструкция // Литературный дневник. 2002. Май (www.vavilon.ru/diary/020518.html).

¹⁴⁹ Виллем Вестстейн анализирует дискуссии о «новой искренности» в статье: Weststeijn W. Postmodernism and After // Weststeijn W. (ed.) Dutch Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists. Amsterdam: Rodopi, 1999. P. 219–220. Аллард ден Далк использует идеи Эпштейна для обсуждения «новой искренности» в американской культуре в работе: den Dulk A. Over de drempel: Voorbij de postmoderne impasse naar een zelf bewust engagement. De literaire zoektocht van Dave Eggers vergeleken met het denken van Friedrich Nietzsche en Albert Camus. The Hague: Allard den Dulk, 2004. P. 135, 137. «Новая искренность» обсуждается также в работах: Богданова О. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-е – 90-е годы XX века – начало XXI века). СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2004. С. 448–557; Чупришин С. Жизнь по понятиям: русская литература сегодня. М.: Время, 2007.

¹⁵⁰ Чупришин С. Жизнь по понятиям.

¹⁵¹ Софронов В. Что-то происходит // Художественный журнал. 1996. № 14 (xz.gif.ru/numbers/14/что-то-происходит); Савчук В. Идеология постинформационной искренности // Художественный журнал. 2000. № 30–31 (http://anthropology.ru/texts/savchuk/artconv_01.html#p5); Дудина И., Эпштейн М., Савчук В. Светлой памяти постмодерна посвящается // Художественный журнал. 2007. № 64 (xz.gif.ru/numbers/64/epshtein-savchuk/); Degot E. Die russische Kunst in den 1990er Jahren: vom Neorussischen zum Postkommunistischen // Nikitsch G., Winzen M. (eds) Na kurort! Russische Kunst Heute. Baden-Baden: Staatliche Kunsthalle, 2004. S. 41; Колдобская М. Искусство в большом долгу. СПб.: НоМИ, 2007. С. 267–268.

¹⁵² Yurchak A. Post-Post-Communist Sincerity: Pioneers, Cosmonauts, and Other Soviet Heroes Born Today // Lahusen Th., Solomon Jr. P. (eds) What Is Soviet Now? Identities, Legacies, Memories. Berlin: LIT, 2008. P. 257–277.

NEW SINCERITY – НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ: ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мой интерес к риторике искренности немислим вне явления культурного переноса. В начале 2000-х годов я часто встречала нечто общее в российском и западном подходах к постпостмодернистской искренности. И я стала задаваться вопросом: как соотносится восприятие искренности в России и в других местах? Влияет ли доминирующий в одном месте дискурс о новой искренности на дискурсы, развивающиеся в других контекстах? И если да, то как эти дискурсы преодолевают границы между ними? Или различные дискурсы выражают более фундаментальный сдвиг культурных парадигм, который они материализуют?

Как часто бывает, ответ на эти вопросы состоит в том, что в определенном смысле верно и то и другое. Даже в цифровую эпоху (а может быть, именно в эту эпоху) трудно в точности отследить «движение» дискурсивных трендов в географическом пространстве. Однако, если приглядеться, можно заметить, что традиционное понимание культурных переносов – которое состоит в том, что глобальные тренды перемещаются по большей части с «интеллектуально доминирующего» Запада в «отсталую» Россию, – в данном случае не работает.

Пригов впервые призвал к проблематизации постмодернистских парадигм в своей лекции о «Новой Искренности» в 1985 году; в то время, насколько мне известно, вне России выражение «новая искренность» могло что-либо сказать только скромной музыкальной тусовке в Техасе – к ней вернемся позже¹⁵³. Хотя неформальные контакты между Приговым и его западноевропейскими и американскими коллегами, разумеется, имели место и были обоюдно полезны, все говорит за то, что две формы риторики новой искренности (которые, несмотря на локальные различия, одинаково отвергали радикальную иронию и релятивизм) развивались независимо друг от друга.

То же касается и более поздних российских дебатов о постпостмодернистской искренности. На них повлияли российские переводы таких культовых для адептов «новой искренности» писателей, как Дэйв Эггерс и Эрленд Лу¹⁵⁴, – однако нельзя сказать, что именно с этих переводов разговор о новой искренности начался: когда книги вышли по-русски, дебаты о новой искренности уже шли полным ходом. В свою очередь, американские писатели-блогеры охотно приняли тексты о постпостмодерности и новой искренности, написанные Эпштейном, который быстро выложил их англоязычные версии онлайн после их первой публикации в конце 1990-х годов¹⁵⁵. Англоязычная «Википедия» в статье «новая искренность» ссылается в том числе и на российские источники и посвящает отдельную, хорошо документированную главку «новой искренности в России».

Одним словом, нельзя говорить ни о совершенно независимых, ни о полностью взаимозависимых обсуждениях новой искренности в России и за ее пределами. Местные варианты дискуссий на эту тему вовлечены в сложную хореографию, в которой глобальный, националь-

¹⁵³ См.: *Corcoran M. The New Sincerity: Austin in the Eighties // Corcoran M. All over the Map: True Heroes of Texan Music. Austin: University of Texas Press, 2005.*

¹⁵⁴ Книга Эггерса «Душераздирающее творение ошеломляющего гения» была опубликована издательством Захарова в 2007 году в переводе Е. В. Кулешова. Книга Лу «Наивно. Супер» опубликована издательством «Азбука-классика» в 2004 году в переводе И. Стребловой. О том, как эти и другие иностранные источники внедряются в русскоязычные споры о новой искренности, см.: *Буренков А. «Новая искренность» // Be-in. 2007. 9 января (https://www.be-in.ru/people/455-novaya_iskrennost/).*

¹⁵⁵ Выложенные в сеть тексты Эпштейна о постмодернизме см.: http://www.focusing.org/apm_papers/epstein.html; <http://www.emory.edu/intelnet/e.pm.erofeev.html>. В качестве примера реакции см. выложенный в 2005 году пост американско-канадского поэта Нила Эйткена «Новая искренность как ответ на постмодернизм» (<http://blog.boxcarpoetry.com/?p=67>); или «постпостмодернизм: краткое введение» («post-postmodernism an abridged introduction»; все строчными буквами в оригинале) – пост, выложенный в 2008 году блогером *travishshaffer* (<http://postmeaningful.blogspot.nl/2008/10/post-postmodernism-abridged.html>).

ный и региональный уровни постоянно пересекаются и накладываются друг на друга и чьи вариации мотивируются экономическими и социальными, равно как и пространственно определяемыми факторами. В дальнейшем я предлагаю постнациональный или транснациональный подход к современной риторике новой искренности. Подобный подход, хотя я здесь обсуждаю прежде всего российский контекст, не останавливается на границах России как национального государства¹⁵⁶. Почему постнациональный подход продуктивен, хорошо показывает случай *flippi754*. В марте 2009 года этот блогер выложил призванные внушать оптимизм фотографии девушек в «Старбаксе» и при этом объяснил: «Это и есть новая искренность: капельки весеннего дождя на щеках и горячий кофе во рту»¹⁵⁷. В зависимости от возраста и социального окружения *flippi754* его комментариев мог возникать как интертекстуальный отклик на постсталинистскую риторику в не меньшей степени, чем на споры вокруг культовых представителей «новой искренности» вроде американской группы «Bright Eyes».

¹⁵⁶ О моем отношении к пост- или транснациональному подходу см. выше замечания о геополитических этикетках «постсоветский» и «постсоциалистический». Кроме того, для меня важна позиция Яна Плампера, который считает транснациональную перспективу единственным возможным подходом к истории эмоций – дисциплине, из которой данная книга черпает ключевые понятия: Плампер Я. Введение I: Эмоции в русской истории // Плампер Я., Шахадат Ш., Эли М. (ред.) Российская империя чувств. С. 35.

¹⁵⁷ Пост блогера *flippi754* под названием «Ania Goodnight», 2009.9 марта (flippi754.livejournal.com/151341.html).

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Книга «Искренность после коммунизма» исследует глобальные аспекты возрождения искренности и предлагает синтетический взгляд на его посткоммунистические – в особенности российские – проявления. Ее истоком было ощущение, что данный дебат требует иного прочтения по сравнению с тем, что предлагалось раньше: прочтения внешнего комментатора, который не вовлечен в саму дискуссию и при этом может учесть ее диахроническое развитие. Ныне существующие работы по истории российской новой искренности либо настроены к ней критически, либо защищают ее. Они либо выступают в качестве ее агентов, либо яростно ее отрицают – другими словами, воспринимают этот предмет как нечто лично близкое. Моя авторская позиция – другая. У меня нет иллюзий относительно того, что я могла сохранить полную невовлеченность в разворачивающиеся дискуссии, но в то же время я успела проследить их происхождение и диахронические трансформации с позиции относительного аутсайдера. Эта позиция имеет свои недостатки (как, например, разобраться в броуновском движении творческих проектов времен перестройки, не имея опыта непосредственного участия в них?). Однако та же позиция представляется идеальной для панорамного обзора постсоветских дебатов о новой искренности, а именно такого обзора до сих пор и не было предложено.

Почему постсоветский дискурс об искренности требует столь подробного культурно-исторического анализа? Возможно, на этот вопрос будет легче ответить, если указать на тех, кто общими усилиями этот дискурс создавал. Блогеры регулярно жалуются, что им надоело слышать на каждом углу разговоры о новой искренности. Журналисты уверены, что новая искренность «не то чтобы совсем тью-тью, но она уже какая-то не „новая“, а почти старая»¹⁵⁸. Участники чата, с которого начиналось мое введение, относятся к этому понятию с долей пренебрежительной иронии. Как мы видели, новое кредо для них достаточно любопытно, чтобы упомянуть его в онлайн-чате, но они также дают понять, что объяснять его значение слишком утомительно. После краткого и небрежного обсуждения новой «теории» оба юзера соглашались, что надо оставить «кошмар» этой «новой искренности» на произвол судьбы и обратиться к чему-нибудь более интересному.

Репутация понятия, над которым посмеиваются, которое кажется публике «вчерашним днем», хорошо показывает, какой именно частью современной постсоветской культуры стала в наши дни риторика новой искренности. Это понятие с большой регулярностью звучит и в России, и повсюду в мире – в блогах, в твиттере и в других социальных медиа, а также во влиятельных интеллектуальных публикациях. И оно продолжает вызывать споры. В ноябре 2012 года принстонский профессор литературы Кристи Уэмпоул опубликовала в *New York Times* статью под названием «Как жить без иронии». Уэмпоул призвала отказаться от иронических социальных форм и хипстерской культуры и заняться вместо этого «культивацией искренности, скромности и самоустранения»¹⁵⁹. Ее статья многих задела за живое: к ней было написано более 700 комментариев, и в интервью Уэмпоул рассказала, что получила более 400 реакций по электронной почте со всего мира¹⁶⁰. Все писавшие горячо спорили о том, как сейчас нужно относиться к иронии и (новой или возрожденной) искренности. Этот вызванный статьей Уэмпоул медийный шум иллюстрирует основное положение данной книги: дискуссии о возрождении искренности в наше время идут с особой силой.

¹⁵⁸ См., например, подборку постов юзера *emylie* от 22 ноября 2008 года (<http://emylie.livejournal.com/427364.html>) или юзера *hasisin* от 12 ноября 2008 года (<http://hasisin.livejournal.com/140620.html>). Последняя цитата приводится по: Усков Н. Фиска духовность-2, запись в блоге от 21 мая 2009 года (<https://uskov.livejournal.com/75672.html>).

¹⁵⁹ *Wampole Ch.* How to Live without Irony.

¹⁶⁰ *Ashbrook T.* The Case against Irony <радиоинтервью с Уэмпоул> // WBUR: Boston's NPR Radio Station. 2012. November 3 (<https://www.wbur.org/onpoint/2012/11/30/the-case-against-irony>).

Однако современные адепты искренности не явились неведь откуда, как Афродита из морской пены. Их риторика восходит к старым представлениям о правдивости и собственном «я». Она многим обязана таким образцам культурной истории, как Конфуций, Аристотель или, скажем, неистовый протопоп Аввакум. Глава, к которой мы теперь перейдем, исследует эти исторические корни и объясняет, как они соотносятся с интересом к проблеме искренности, которую встречаем у юзеров *A. Ш.* и *bordzhia*, поэта Пригова, академика Уэмпкул и множества их современников.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ

Строгие умы насмехались над ней; аналитики пытались расшифровать ее; преподаватели безжалостно подчеркивали в студенческих работах слишком легковесные доказательства величия чуть ли не каждого произведения в силу его «искренности»... Понятие «искренность» стало самой мощной движущей силой в литературе и психологии нашего времени.

Анри Пейр. Литература и искренность ¹⁶¹

В определенный момент истории... ценность, которую <определенные люди и классы людей> придавали продвижению искренности, стала важной и, возможно, определяющей чертой западной культуры на целых четыреста лет.

Лайонел Триллинг. Искренность и подлинность ¹⁶²

Таковыми утверждениями в 1960-х годах Анри Пейр и Лайонел Триллинг, не страшась радикальных универсализаций, открыли дорогу исследованиям истории искренности. И они, и другие авторы работ о циркуляции этого понятия на протяжении веков сделали немало для прояснения его культурных истоков. В данной главе я не буду приводить подробные пересказы предложенных ими обзоров, и такие важнейшие для истории риторики искренности вехи, как Мишель де Монтень и Франсуа де Ларошфуко, не украсят ее страниц. Не будет здесь и подробного описания истории перформативности, иронии, субъективности и личности – того семантического кластера, который обязательно фигурирует в любом разговоре об искренности. Здесь не следует искать, например, имени Ричарда Рорти, хотя нельзя отрицать решающее значение его идей о перформативности и иронии на современную риторику искренности ¹⁶³.

Я ставлю перед собой более узкую задачу. В моем диахроническом обзоре классические работы Пейра и Триллинга будут сочетаться с современными исследованиями риторики искренности. При этом мне важно проследить те дискурсивные исторические тропы, которые резонируют с современными интерпретациями термина, особенно (хотя и не только) в России.

«Но почему же именно Россия? – может удивиться человек, далекий от русистики. – Почему не какая-то другая культура?» Этот выбор был далеко не случайным: по словам писателя и критика Михаила Берга, вся история русской литературы «определялась дихотомией искренность/ирония» ¹⁶⁴. Само по себе столь резкое разграничение между искренностью и иронией не особенно продуктивно, но меня чрезвычайно интересует популярность размышления об искренности в России как культурно-исторический факт. То, что оно весьма распространено, не подлежит сомнению: как заметили Биргит Боймерс и Марк Липовецкий, «понятие „искренность“... наполнено в русской культуре непропорционально высоким значением», в особенности начиная с советской эпохи ¹⁶⁵. Россия, таким образом, занимает центральное место в общей транснациональной истории, которая будет прослежена в этой главе. Я покажу исторические корни трех тематических комплексов, которые доминируют в современных дискуссиях на данную тему: искренность и память; искренность и коммодификация; искренность и медиа.

¹⁶¹ *Peyre H. Literature and Sincerity. New Haven: Yale University Press, 1963. P. 14.*

¹⁶² *Trilling L. Sincerity and Authenticity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971. P. 6.*

¹⁶³ См., например: *Rorty R. Objectivity, Relativism and Truth. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.*

¹⁶⁴ *Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. М.: Новое литературное обозрение, 2000.*

¹⁶⁵ *Beumers B., Lipovetsky M. Performing Violence: Literary and Theatrical Experiments of New Russian Drama. Chicago: University of Chicago Press, 2009. P. 180.*

Мы начнем с комплекса «искренность и память». В современном дискурсе искренность глубоко укоренена как в историко-политической сфере, так и в общественной памяти. Когда этот термин всплывает в постсоветских интеллектуальных дебатах, он, как правило, выступает в двух контекстах: социополитического противостояния («лицемерной» официальной культуре) и желания преодолеть («неискреннее») недавнее прошлое. Зачастую участники дискуссий приписывают искренность определенной нации или социальной группе, отмечая, например, этим знаком достоинства Россию или ее интеллектуальную элиту.

Второй тематический комплекс – «искренность и коммодификация». Разговор об искренности в наше время неизбежно включает сомнения и подозрения философского или практического свойства. Может ли художник или писатель быть везде и всегда искренним? Как спонтанная искренность уживается с зачастую сугубо рациональной и трудоемкой творческой задачей? Эти вопросы составляют суть современной озабоченности этим понятием.

Третий и последний комплекс – «искренность и медиа». Сегодня искренность часто концептуализируется как понятие, свойственное именно дигитальным медиа. Некоторые аналитики указывают на социальные медиа как на главные источники тех модусов письма, которые выражают немислимую прежде постпостмодернистскую искренность. Другие видят в автоматизации угрозу личному общению людей и полагают, что справиться с этой угрозой может только подлинная человеческая искренность.

Одним словом, современные концепции искренности: а) определяются социополитически; б) скептически по умолчанию; в) сосредоточены на новых медиа. Каковы истоки этих представлений? Насколько они специфичны для постсоветской России? И как в постсоветском восприятии искренности используются и переосмысляются исторические интерпретации искренности, характерные для других культурных контекстов? Это и есть главные вопросы данной главы, предлагающей историческую прелюдию к другим главам. Разумеется, я не смогу дать полные ответы на эти вопросы: мне придется делать огромные пропуски во времени и пространстве, и, хотя иногда я буду затрагивать юридические, художественные и другие области, основным материалом служат те источники, с которыми я ближе всего знакома: литературные и философские тексты. Несмотря на эти неизбежные ограничения, пунктирный исторический обзор, который найдет читатель в этой главе, послужит необходимой аналитической опорой для последующего анализа постсоветской ситуации.

ИСКРЕННОСТЬ ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО РАННЕЙ МОДЕРНОСТИ

Эмоциональные нормы меняются с течением времени, и даже в рамках одной человеческой жизни одна и та же личность может принадлежать к нескольким эмоциональным сообществам с различными наборами эмотивных ценностей. Эти предположения стали общепринятыми среди современных теоретиков эмоций¹⁶⁶. То же верно и по отношению к историческим прочтениям искренности: вопрос о том, что является искренним поведением, а что является неискренним поступком, получал несхожие ответы в различные периоды и в разных местах. Однако, при всем разнообразии ответов на этот вопрос, в них упорно повторялась одна черта: как только упоминалось слово «искренность», являлись и сомнения относительно возможности искреннего самовыражения. Не случайно и в истории языка, и в современном узусе это существительное легко сочетается с глаголами, обозначающими неверифицируемое внешнее представление и подозрение: искренность есть нечто такое, что адресант «проявляет», – или то, в чем адресат должен «убедиться»¹⁶⁷.

Задолго до того, как это слово вошло в наш словарь, коннотации недоверия, бросающего тень на данное понятие сегодня, уже связывались с теми атрибутами, которые сольются позднее в слове «искренность»: умение быть правдивым и не притворяться. Недоверчивость к этим качествам была характерна далеко не только для так называемого «Запада», и я не согласна с теми исследователями, которые полагают, что искренность относится именно к основам «западной метафизики»¹⁶⁸. Еще в IV–III веках до нашей эры в Китае были распространены конфуцианские понятия «чэн» и «чэншен», которые в наше время переводятся как «искренность», но буквально значат моральную ответственность быть «верным самому себе»¹⁶⁹. Представление о «чэншен» как обязанности, которую должен исполнять человек, говорит о том, что страх перед неискренностью был распространен и в Юго-Восточной Азии, причем в глубокой древности.

На другом конце мира сходные страхи материализовались несколько ранее в том, что обычно называют «платоновским разграничением» – тем «открытием разрыва между видимым и (подлинно) сущим», которое составляет основу философии Платона¹⁷⁰. В древнегреческой философии представление об искренности воплощалось также и в фигуре речи, называемой «паррезия», обозначавшей моральный долг оратора высказываться откровенно и, если необходимо, критически по отношению к власти¹⁷¹. Интерес к искренности заметен и в аристотелевской «Риторике». По словам историка культуры Лисбет Кортхалс Алтес, «в трех „пистейях“,

¹⁶⁶ См. две прорывные публикации, формулирующие эти идеи: *Rosenwein B. Worrying about Emotions in History // American Historical Review. 2002. № 107 (3). P. 821–845; Idem. Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 2006.* Исследование эмоциональных сообществ в России предлагалось в работе: *Келли К. Право на эмоции, правильные эмоции: управление чувствами в России после эпохи Просвещения // Плампер Я., Шахадат Ш., Эли М. (ред.) Российская империя чувств: подходы к культурной истории эмоций: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 51–78.*

¹⁶⁷ «Проявить», «убедиться» – вот два глагола, устойчиво сочетающиеся с существительным «искренность», см.: *Тихонова А. Н. (ред.) Комплексный словарь русского языка. М.: Русский язык медиа, 2005.*

¹⁶⁸ *Assmann A. Authenticity – the Signature of Western Exceptionalism? // Straub J. (ed.) Paradoxes of Authenticity: Studies on a Critical Concept. Bielefeld: Transcript, 2012. P. 36.* В цитате, которой открывается эта глава, Триллин также указывает на искренность как на определяющую черту именно Западной постренессансной культуры (см.: *Trilling L. Sincerity and Authenticity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971. P. 6.*

¹⁶⁹ *An Yanming. Western «Sincerity» and Confucian «Cheng» // Asian Philosophy. 2004. № 14. P. 155–169.*

¹⁷⁰ *Assmann A. Authenticity. P. 37.*

¹⁷¹ *Markovits E. The Politics of Sincerity: Plato, Frank, and Democratic Judgment. University Park: Penn State University Press, 2008. P. 67.* О паррезии см. также: *Foucault M. Fearless Speech. Los Angeles: Semiotext(e), 2001.*

или средствах убеждения, различаемых Аристотелем и Цицероном, – *этос*, *пафос* и *логос*, – внимание направлено на те аспекты коммуникации, которые оказываются близки к тому, что современная теория речевых актов относит к разряду искренности... этос для Аристотеля включает „три вещи, внушающие доверие к оратору... Это здравый смысл, добродетель и благородное расположение <по отношению к аудитории>“. Ораторы поступают дурно <среди прочего>, когда „вследствие порочности говорят не то, что думают“¹⁷².

Способность говорящего быть честным по отношению к аудитории высоко ценилась в древних культурах. Это качество сохранило высокую оценку и в Средние века, что доказывает недавно вышедшая монография нидерландского культурного историка Ирен ван Ренсвуд. В ту эпоху, как показывает исследовательница, правители толерантно относились к резким инвективам в свой адрес, потому что верили: в здоровом обществе критик монарха «должен быть искренним». С точки зрения ван Ренсвуд, тогдашнее отношение предвосхитило нынешнее почитание свободной, вольной речи как признака «смелости, подлинности, неконформизма и искренности» такими политиками-популистами, как, скажем, Герт Вилдерс в Нидерландах¹⁷³.

В традиции паррезии и «искренного критика монарха» вопрос о том, честен ли человек по отношению к внешним инстанциям, был принципиальным, – но вопрос о том, верен ли говорящий своей собственной «личности», оказывался менее важным¹⁷⁴. Ситуация выглядела иначе в период раннего христианства, когда знаменитые исповедальные сочинения апостола Павла и Блаженного Августина способствовали более сложным представлениям о человеческом «я», в которых неспособность быть «верным себе» заняла центральное место. Однако вопрос о том, честен ли говорящий, выдвинулся на первый план только в культуре ранней модерности, когда слова *sincerité* и *sincerity* появились сначала во французском, а затем и в английском языке. Оба слова происходят от латинского термина *sincerus* – «чистый», «настоящий» или «незапятанный», – который первоначально служил указанием на несмешанность материальных объектов (чистое, неразбавленное вино) или на чистоту теологических понятий (нефальшивая доктрина)¹⁷⁵. В новых концепциях личности и субъективности, которыми отмечено мышление ранней модерности, – по известному выражению Стивена Гринблатта, в эпоху Ренессанса «имелись как „я“, так и идея, что его можно формировать»¹⁷⁶, – понятие искренности вскоре стало представлять собой проблему. «Что значит быть искренним?» Этот вопрос все чаще задавали мыслители того времени, сталкиваясь с ошеломляющим разнообразием переходных культурных явлений. Радикальные социальные смены непрерывно заставляли их менять прежние взгляды и стирали традиционные различия между частным и общим. Я имею в виду и возникновение театра как вида искусства, и переход от рукописной к печатной книге, и постоянно ширившиеся нападки на «лицемерное» католичество, и характерный для Ренессанса рост городов. Появление предназначенных для постановки пьес, возникновение

¹⁷² Korthals Altes L. Sincerity, Reliability and Other Ironies – Notes on Dave Eggers' «A Heartbreaking Work of Staggering Genius» // D'Hoker E., Martens G. (eds) Narrative Unreliability in the Twentieth-Century First-Person Novel. Berlin: Walter de Gruyter, 2008. P. 110. Кортхалс Алтес цитирует «Риторику» Аристотеля (2, 1, 5–7: 78а6–20; курсив автора).

¹⁷³ Сошлюсь на диссертацию Ирен ван Ренсвуд «Право говорить», которая получила премию Хайнекена для молодых исследователей в области истории в 2014 году. Цитаты из ван Ренсвуд см.: Spiering H. In de vroege Middeleeuwen was kritiek nog welkom // NRC Handelsblad. 2014. October 2. P. 10, см. также: van Renswoude I. Licence to Speak: The Rhetoric of Free Speech in Late Antiquity and the Early Middle Ages. Acceptance speech, Praemium Erasmianum Research Prize // The Cultural Significance of the Natural Sciences: Praemium Erasmianum Yearbook 2012. Amsterdam: Praemium Erasmianum Foundation, 2013. P. 49–50. (Последняя работа – не диссертация, а речь, произнесенная в 2012 году.)

¹⁷⁴ См. об этом: Peyre H. Literature and Sincerity. New Haven: Yale University Press, 1963. P. 17. Взаимоотношения между внутренним и внешним «я» были осознаны уже в платоновских диалогах, где Сократ просит богов: «О любезный Пан и прочие здешние боги! Даруйте мне быть прекрасным внутренне и с моим внутренним согласите все, что имею, внешнее» (Платон. Федр / Пер. В. Карпова // Платон. Полное собрание сочинений в одном томе. М.: Альфа-Книга, 2016. С. 429).

¹⁷⁵ Trilling L. Sincerity and Authenticity. P. 12–13.

¹⁷⁶ Greenblatt S. Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare. Chicago: University of Chicago Press, 1980. P. 1.

стандартизированных средств коммуникации, популярность кальвинистских антиклерикальных призывов отдавать сердце Богу «ревностно и искренне», а также быстрый рост социальной мобильности – все эти общественные факторы способствовали подъему интереса к личности, истине и правдивости¹⁷⁷. По словам Сьюзен Розенбаум, они порождали «новое недоверие», для которого «риторика искренности» должна была выступить в качестве посредника¹⁷⁸.

В публичных дебатах того времени искренность зримо присутствует, например, в реакциях на радикальные изменения в средствах коммуникации. Мике Бал и Эрнст ван Алфен считают, что с появлением книгопечатания и профессионального театра «искренность оказалась вовлечена в медийные формы, которые усложняли... интегрированное семиотическое поле, в котором тело и разум считались чем-то единым»¹⁷⁹. Эти новые медийные формы отнюдь не были встречены единодушным одобрением. Историки СМИ показывают, что появление нового средства коммуникации всегда вызывает всплеск социальных надежд, фантазий и страхов¹⁸⁰. Это верно и по отношению к медийным нововведениям эпохи Ренессанса: они порождали сильную озабоченность судьбой искренности. Повсеместное распространение книгоиздательского пиратства, например, ставило издателей перед серьезными проблемами, навлекая на них недовольство покупателей и провоцируя кризис доверия. Критики обвиняли печатные книги в «неподлинности», «заурядности» и, как следствие, в меньшей искренности¹⁸¹ – словом, в том, что они лишь искусственная копия рукописных книг. Историк книжности Адриан Джонс показал, что издатели пытались обелить свою продукцию тем, что старательно «проецировали аутентичность в область книгопечатания»¹⁸². Для достижения этой цели они придумывали остроумные средства: сознательно имитировали манускрипты, используя квазирукописные шрифты. В результате возникали несовершенные с виду книги, выдающие себя за те «искренние» образцы, которые так ценят покупатели¹⁸³.

Как я покажу в четвертой главе, схожие тенденции – проецировать искренность в сферу «старых» медиа и видеть в эстетическом несовершенстве гарантию человеческой искренности, реализуемую в рамках новых медийных технологий, – мы встречаем в российском и глобальном дискурсе о дигитализации¹⁸⁴. Но риторика искренности времен ранней модерности предвосхищала постсоветский дискурс об искренности и в другом отношении. Я имею в виду ее всеобъемлющую политизацию.

С одной стороны, понятие «искренность» – неотъемлемая часть «персональных» концепций личности, строившихся на императиве «оставаться верным самому себе». С другой стороны, едва поставив вопрос о семантических корнях искренности, мы сразу же попадаем

¹⁷⁷ О статусе искренности в раннемодерной культуре см. среди прочего: *Trilling L. Sincerity and Authenticity; Bal M., van Alphen E. Introduction // Bal M., Smith C., van Alphen E. (eds) The Rhetoric of Sincerity. Stanford: Stanford University Press, 2009. P. 1–16; Martin J. Inventing Sincerity, Refashioning Prudence: The Discovery of the Individual in Renaissance Europe // American Historical Review. 1997. № 102 (5). P. 1304–1342.* «Ревностно и искренне» (*prompte et sincere*) – надпись, значащаяся вокруг эмблемы кальвинизма: сердца, которое рука верующего протягивает Богу (*Martin J. Inventing Sincerity. P. 1327*).

¹⁷⁸ *Rosenbaum S. Professing Sincerity: Modern Lyric Poetry, Commercial Culture, and the Crisis in Reading. Charlottesville: University of Virginia Press, 2007. P. 5–6.*

¹⁷⁹ *Bal M., van Alphen E. Introduction. P. 2–3.*

¹⁸⁰ См., например: *Boddy W. New Media and Popular Imagination: Launching Radio, Television, and Digital Media in the United States. Oxford: Oxford University Press, 2004.*

¹⁸¹ Об этом аргументе см. среди прочего: *Schmid U. (ed.) Russische Medientheorien. Bern: Haupt, 2005. P. 15–16.*

¹⁸² *Johns A. The Nature of Books: Print and Knowledge in the Making. Chicago: University of Chicago Press, 1998. P. 174.*

¹⁸³ См. об этом работу, в которой, впрочем, не говорится прямо о концепте искренности: *Febvre L., Martin H.-J. The Coming of the Book. London: Verso, 1976. P. 77–78.*

¹⁸⁴ Несовершенство здесь следует понимать в так называемом эмическом смысле, как понятие, относящееся к точке зрения людей данной культуры. О моем интересе к историческим и сегодняшним «мечтам о несовершенстве» см.: *Rutten E. «Russian Imperfections»? A Plea for Transcultural Readings of Aesthetic Trends // Byford A., Doak C., Hutchings S. (eds) Transnational Russian Studies. Liverpool: Liverpool University Press, 2020 (in print).*

в другую, совсем не частную, а скорее общественную и несомненно политическую область¹⁸⁵. В раннемодерной культуре рождение понятия «искренность» совпало с появлением «идеи общества»¹⁸⁶, и новое слово сразу же стало встречаться в контекстах, относящихся к публичной сфере. Историк Джон Мартин показал, как в рамках ренессансной концепции человеческого «я» граждане могли выбирать между «внешней», «благоразумной» личностью, следовавшей правилам общественной или придворной жизни, и «внутренним» идеалом искренности¹⁸⁷. Искренность, таким образом, исходила из сферы приватного, однако при этом не должна была замыкаться в ней. Для английских кальвинистских богословов, например, «частный» идеал искренности оказывался неразрывно связан с гражданским действием политической оппозиции: они гордились тем, что публично выражали свои личные взгляды на властей предрежащих¹⁸⁸.

Своей установкой на публичное выражение личных чувств кальвинизм продолжал знакомые нам риторические традиции греческой паррезии и средневековой свободной речи. В этих традициях искренность связывалась с политической оппозиционностью (особенно, но не только со стороны интеллектуальной элиты), а лицемерие – с политическим статус-кво (воплощенным, например, в государственной власти или в католицизме). Помимо английских кальвинистов, схожих взглядов на человеческое «я» придерживался и современный им немецкий культ искренности. Историк литературы Инго Штёкманн описывает, как в начале XVII века так называемая старогерманская оппозиция позиционировала себя как образец искренности, противопоставленный лицемерному французскому двору. Представители этой оппозиции выдвигали понятие искренности в качестве ответа на историческую необходимость формировать политические сообщества¹⁸⁹. Сходную консолидирующую функцию понятие искренности сыграло в подъеме Голландской республики. Ее адепты противопоставили искренность и притворство как мерило проверки и доказательства преданности правителя своему народу¹⁹⁰. Наконец, в ту же эпоху во Франции драматурги выдвигали искренность как спасительное средство против разложения двора и всепроникающего лицемерия придворной жизни¹⁹¹.

Мой последний пример – французская антипридворная риторика – послужил прообразом крайне политизированного культа искренности, распространившегося во Франции конца XVIII века. К этому культу мы вскоре вернемся, пока же отмечу только одно: как и другие вышеприведенные примеры из раннего модерна, ему была свойственна риторическая манера резко противопоставлять искренность и лицемерие как качества конкурирующих политических или социальных групп – групп, чье взаимное неприятие стремились подчеркнуть ораторы. Как будет показано во второй главе, современный российский язык искренности немислим без этого социополитического использования термина. Однако, прежде чем обратиться к сегодняшнему дню, нам надо продолжить путешествие сквозь время. Теперь это путешествие ведет нас в Россию.

¹⁸⁵ Trilling L. Sincerity and Authenticity. P. 26.

¹⁸⁶ Trilling L. Sincerity and Authenticity. P. 20.

¹⁸⁷ Martin J. Inventing Sincerity. P. 1333.

¹⁸⁸ Trilling L. Sincerity and Authenticity. P. 21–23.

¹⁸⁹ Stöckmann I. Deutsche Aufrichtigkeit: Rhetorik, Nation und politische Inklusion im 17. Jahrhundert // Deutsche Vierteljahrsschrift. 2004. № 78 (3). P. 373–397; *Idem*. Bismarcks Antlitz. Über den lyrischen Gebrauchssinn deutscher Aufrichtigkeit // Text und Kritik. 2007. № 173. P. 18–19.

¹⁹⁰ Korsten F.-W. The Irreconcilability of Hypocrisy and Sincerity // Bal M., Smith C., van Alphen E. (eds) The Rhetoric of Sincerity. Stanford: Stanford University Press, 2009. P. 60–77.

¹⁹¹ Peyre H. Literature and Sincerity. P. 51.

РОССИЯ: ДЕРЗНОВЕНИЕ И ИСКРЕННОСТЬ

Как я уже отметила, многие авторитетные исследования риторики искренности полагают, что это явление имеет несомненно западное происхождение. На самом деле проблематика выражения искренних чувств человека, разумеется, никогда не ограничивалась Западной Европой и Соединенными Штатами. В начале этой главы мы уже упоминали Китай, обратимся теперь к России.

По мнению группы российских лингвистов, возглавляемых Анной Зализняк, одной из восьми «ключевых идей», формирующих русскую языковую картину мира, является «идея, что хорошо, когда другие люди знают, что человек чувствует»¹⁹². К числу слов, выражающих эту мысль, принадлежит и прилагательное «искренний»¹⁹³. Зализняк и ее коллеги не одиноки в предположении, что данное слово в русском языке всегда имело уникальный статус. Лингвист Анна Вежицка утверждает, что русское существительное «искренность» покрывает куда больший диапазон значений, чем обычно используемое для его перевода английское слово «sincerity»; по ее мнению, оно включает понятия «kindness (добросердечие)», «innocence (чистосердечие)» и «depth of feeling (душевность)»¹⁹⁴. Наконец, известный историк литературы Светлана Бойм в своем исследовании российской повседневности утверждала, что «русское слово „искренность“ предполагает родство, близость, интимность, этимологически восходя, вероятно, к слову „корень“ – все это придает русскому понятию искренности известную „крайность“. <...> <Это слово> предполагает не столько чистоту, сколько душевное родство и проявляется в общепринятых ритуалах, которые русскими воспринимаются как искренние, но которые иностранцам могут казаться чересчур театральными»¹⁹⁵. Добавляя к этимологии антропологические наблюдения, Бойм продолжает: «Русские коды искреннего поведения гораздо более эмоциональны и открыто экспрессивны по сравнению со своими западными аналогами»¹⁹⁶.

Выводы Бойм и ее коллег соответствуют старому стереотипу относительно внутреннего мира русских людей. По словам историка культуры Катрионы Келли, когда иностранцы говорят о «русских эмоциях», они обычно подразумевают «выражение чувств, которое кажется естественным, искренним, непредсказуемым, идущим от сердца или... „из глубины души“»¹⁹⁷. Показательным для этого представления оказывается понятие «русская душа» – стойкий миф о русском национальном характере, якобы менее рациональном и более непосредственном, чем темпераменты других народов¹⁹⁸.

Соответствие реальности стереотипного портрета «искренного русского» вызывает сомнения, – но безусловно, слово «искренность» проникло в русский язык на удивление рано. В отличие от своих английского и французского аналогов понятие «искренность» встреча-

¹⁹² Зализняк А., Левонтина И., Шмелев А. (ред.) Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 11.

¹⁹³ Там же.

¹⁹⁴ Вежицка А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Русский язык в научном освещении. 2002. № 4. С. 6–34.

¹⁹⁵ Boyt S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994. P. 97, 100. Бойм добавляет в сноске: «Макс Фасмер предполагает, что существует связь между искренностью и старорусским „искрен“, означающим „близкий“, „находящийся поблизости“ (приставка „из“ и корень „корен“)» (Там же. С. 315). См. также: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. М.: Прогресс, 1986. С. 140–141.

¹⁹⁶ Boyt S. Common Places. P. 101.

¹⁹⁷ Цит. по: Келли К. Право на эмоции. С. 51.

¹⁹⁸ См. подробное (хотя местами само по себе мифологизирующее) исследование мифа о «русской душе»: Williams R. C. The Russian Soul: A Study in European Thought and Non-European Nationalism // Journal of the History of Ideas. 1970. № 31 (4). P. 573–588.

ется уже в памятниках XI века, вскоре после того, как Киевская Русь обрела письменность¹⁹⁹. Этимологические исследования показывают, что в это время данное слово еще не имело каких-либо общественно-политических коннотаций. В церковнославянском языке политические ассоциации вызывало скорее соотносимое с «искренностью» понятие «дерзновение». Сегодня это слово кажется семантически близким к «смелости» и «дерзости», однако в древности оно отражало греческое понятие «паррезия» и отсылало, в том числе, к конструктивной критике властей. Слово «искренность» было изначально лишено подобных критических обертонов. В наиболее ранних фиксациях грамматических вариаций исходного корня – в существительном «искренность», прилагательном «искренний», наречии «искренне» – это понятие обозначало исключительно позитивные смыслы: честность, правдивость, доверительность и близость²⁰⁰.

В этом изначальном наборе значений скептический вопрос о том, насколько говорящий верен самому себе, не играл существенной роли. Да и почему он должен был ее играть? Этот вопрос был, в сущности, малоинтересен древнерусским книжникам: литература в то время выполняла в первую очередь религиозные и идеологические функции, ориентировалась на факты, а не на вымысел и не стремилась к индивидуальной неповторимости. В культуре, не прошедшей через Возрождение и Реформацию, представление об автономной «личности» попросту не являлось насущным вопросом²⁰¹.

Ситуация изменилась в одном из важнейших произведений ранней русской литературы – написанном в конце XVII столетия радикальном и откровенном «Житии протопопа Аввакума»²⁰². Автор-священник был сослан и заточен в острог за свое противостояние богословской реформе, проводившейся патриархом Никоном. В своем «Житии» Аввакум описывает как выпавшие на его долю мытарства, так и свою любовь к Божьему миру. Его повествование отличается необычным для той эпохи личным тоном. В тексте находится место, например, для таких персональных и критических самооценок: «А я ничто ж есмь. Рекох, и паки реку: аз есмь человек грешник, блудник и хищник, тать и убийца, друг мытарем и грешникам и всякому человеку лицемерец окаянной. Простите же и молитесь о мне, а я о вас должен, чтущих и слушающих. Больши тово жить не умею; а что сделаю я, то людям и сказываю; пускай богу молятся о мне! В день века вси жо там познают соделанная мною – или благая или злая. Но аще и не учен словом, но не разумом; не учен диалектики и риторики и философии, а разум Христов в себе имам, яко ж и Апостол глаголет: „аще и невежда словом, но не разумом“»²⁰³.

Несмотря на благочестивую риторику, язык «грешника» выражает личные эмоции и выглядит совершенно необычно на фоне своей эпохи. Не случайно Ульрих Шмид – автор истории российских автобиографий – называет книгу Аввакума «местом рождения индивидуального сознания в русской культурной истории»²⁰⁴. Протопоп действительно привнес в русскую литературу четко обозначившееся самосознание. Как показывает отрывок про грех и разум Христа, он старательно стилизует свое «я» под образ социального изгоя, говорящего грубым языком²⁰⁵. Установка на грубость и неграмотность делает Аввакума несомненным предше-

¹⁹⁹ См. определения и примеры раннего использования: *Vasmer M. Russisches etymologisches Wörterbuch*. В. 1. Heidelberg: Carl Winter, 1953; *Срезневский И. (ред.)* Материалы для словаря древнерусского языка. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1958; *Бархударов С. (ред.)* Словарь русского языка XI–XVII вв. 6-е изд. М.: Наука, 1979.

²⁰⁰ *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2. СПб.: М. О. Вольф, 1905.

²⁰¹ Об отличиях концептуализации субъективности и личности по сравнению с западноевропейской традицией см. также: *Schmid U. Ichentwürfe: Russische Autobiographien zwischen Avvakum und Gercen*. Zürich: Pano, 2003. P. 37.

²⁰² В упомянутой в примеч. 155 своей книге (*Ichentwürfe: Russische Autobiographien zwischen Avvakum und Gercen*) Ульрих Шмид указывает на «Завещание» Владимира Мономаха и письма Курбского как тексты-предшественники автобиографий (с. 43).

²⁰³ *Житие протопопа Аввакума*. М.: ГИХЛ, 1960. С. 109–110.

²⁰⁴ *Schmid U. Ichentwürfe*. P. 37.

²⁰⁵ Сходные суждения о почти безупречно «устном» языке Аввакума см.: *Bortnes J. Visions of Glory: Studies in Early*

ственным будущему классического русского литературного типа: человека искреннего и грубого, чей голос противостоит лощеным, но лицемерным представителям правящих классов.

Russian Hagiography. Oslo: Solum, 1988. P. 244ff. О стилизации под нарочито просторечный язык у Аввакума см.: *Schmid U.* Ichentwürfe. P. 55–57; *Brouwer S.* Avvakoem: De afscheiding van de Russische oudgelovigen // Avvakoem: Het leven van aartspriester Avvakoem door hemzelf geschreven. Antwerp: Benerus, 2001. P. 27–30.

XVIII ВЕК: ОПАСНЫЙ ЯЗЫК СЕРДЦА

В следующем столетии искренность стала все больше волновать интеллектуалов именно как общественный вопрос. Лицемерие превратилось в острую политическую проблему, в особенности в (до)революционной Франции. Исторические исследования убеждают нас в том, что влияние словаря эмоций Франции XVIII века на публичную сферу трудно переоценить: в тогдашней политической и общественной мысли понятие «искренность» стало стержневым культурным понятием.

Действительно, с появлением романтизма французское *sincérité* стало крайне влиятельным словом. Жан-Жак Руссо – возможно, самый известный в истории литературы адепт искренности – охотно прибегал к этому понятию в своих исповедальных сочинениях. По словам Анри Пейра, у Руссо термин даже стал «замещать почти любое качество, моральное или эстетическое»²⁰⁶. Руссо придал ему и политическую окраску: для философа «искренность» обозначала непосредственное выражение отдельной личностью своего «я» в противоположность его социально легитимированному сокрытию – то есть лицемерию общественной, или цивилизованной, жизни, в особенности придворной²⁰⁷.

Руссо – ключевая фигура в той истории искренности, которую мы здесь прослеживаем. С одной стороны, на него оказало большое влияние развенчание придворного лицемерия, а с другой – его представления об искренности оказались в высшей степени важны для развития французской революционной мысли. По словам историка Линн Хант, французские республиканцы ценили «непосредственное выражение сердечных чувств выше любых других личных качеств». Для них «прозрачность идеально подходила в качестве медиатора между общественным и частным; прозрачность состояла в том, что человек не лжет и ничего не скрывает. Она приравнивалась к добродетели и в качестве таковой считалась важнейшим условием для будущего республики. Лицемерие, напротив, грозило республике гибелью: ... оно лежало в основании контрреволюции»²⁰⁸. Другими словами, в идеальном государстве, как его представляли революционеры, сердца и умы простых людей и носителей власти искренне солидаризуются.

Французские революционеры не были одиноки в оценке искренности как жизненно важного качества. В XVIII веке в разных европейских странах это понятие постепенно стало занимать центральное место в отдельных художественных произведениях и в языке культуры в целом. По словам исследователя британской поэзии Дэвида Пэркинса, в течение этого столетия «искренности <начали>... требовать от всех художников»²⁰⁹. Как и в ранней модерности, это слово опять стало встречаться в тех областях, где сходились частное и общественное; однако социальные группы, которым приписывалась искренность, разделялись теперь куда более резко. На фоне возросших возможностей для путешествий, захватнических войн и растущих торговых связей «искренность» оказалась ключевым словом в нарождающемся националистическом дискурсе. Так, первые британские националисты указывали на искренность как на главную английскую добродетель. Как показал историк Джеральд Ньюман, в ранних националистических дебатах постепенно сформировались отношения эквивалентности между

²⁰⁶ *Peyre H. Literature and Sincerity. P. 80.*

²⁰⁷ О руссоистском понятии искренности и его воздействии см. также: *Trilling L. Sincerity and Authenticity, в особенности: C. 17–18, 23–24, 58–78, 92–99, 165–166.*

²⁰⁸ *Hunt L. The Family Romance of the French Revolution. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 96–97.*

²⁰⁹ *Perkins D. Wordsworth and the Poetry of Sincerity. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1964. P. 1.* Кристина Лаптон показала, что литературные критики XVIII века обменивались утонченными взглядами на риторику искренности в большей степени, чем показывают многие исследования эпохи Просвещения (см.: *Lupton Ch. Sincere Performances: Franklin, Tillotson, and Steele on the Plain Style // Eighteenth-Century Studies. 2007. № 40 (2). P. 177–192*). Об искренности в английской культуре XVIII века см. также: *Guilhamet L. The Sincere Ideal: Studies in Sincerity in Eighteenth-Century English Literature. Montreal: McGill-Queens University Press, 1974.*

«Искренностью» и английским «Национальным Идеалом как таковым»²¹⁰. В чисто бинарной логике, которую так любят националисты, «английское – искреннее – благое» последовательно противопоставлялось «офрануженному – неискреннему – тлетворному»²¹¹.

Взгляд английских националистов на Францию совпадал с восприятием французского двора как «лицемерного», которое было распространено среди революционно настроенной интеллектуальной элиты в самой Франции. Французские революционеры, однако, употребляли понятие «лицемерие» несколько иначе, чем британские националисты. Последние проецировали идеал «искренного» общества на весь народ. Французские интеллектуалы считали, что это идеальное свойство присуще только части французского общества – а именно простым людям. Завороженная литературой и только нарождающимися представлениями о правах человека, французская интеллектуальная элита обратилась к сентиментализму, с его тезисом о том, что обездоленные люди тоже умеют чувствовать. Французские интеллектуалы, поначалу признававшие способность чувствовать за всеми людьми, вскоре стали рассматривать благородные человеческие чувства как принадлежность *исключительно* низших социальных слоев, и селян в особенности²¹².

Антрополог Уильям Редди в пионерском исследовании истории языка эмоций элит в истории Франции обсуждает эту «веру в чистоту и искренность эмоций сельских жителей» в особенности²¹³. Редди задается вопросом: в какой мере подобная вера могла ускорить начало революции? Ученый признает, что дать ответ нелегко; но для него не вызывает сомнений та сложная и противоречивая роль, которую «язык сердца» и в особенности слово «искренность» сыграли с наступлением Революции и Террора. В судебных делах 1780-х годов это слово стало звучать непосредственно в залах судебных заседаний после того, как «лицемерие» формально приравнивали к преступлению. В юридических документах того времени пострадавший и преступник стали постоянно изображаться как соответственно «искренний» простолюдин и «манерный» аристократ²¹⁴. С течением времени подозрение в неискренности превратилось в мощный инструмент правосудия: в некоторых случаях подобные подозрения приводили к смертным приговорам. Пытаясь «управлять людьми на основе искренности и управлять так, чтобы породить искренность, даже когда применяешь чистое насилие», революционеры радикализировали риторику искренности до такой степени, что она оказалась способна в буквальном смысле слова разить насмерть²¹⁵.

²¹⁰ Newman G. The Rise of English Nationalism: A Cultural History, 1740–1830. London: Macmillan, 1997. P. 127ff.

²¹¹ Ibid. Гийоме в указанной выше монографии (см. сноску на предыдущей странице) также пишет о тенденции противопоставлять английскую «искренность» французскому «лицемерию».

²¹² См. об этих изменениях, например: Hunt L. Inventing Human Rights: A History. New York: Norton, 2007.

²¹³ Reddy W. M. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 184–185. См. также: Ibid. P. 326.

²¹⁴ Ibid. P. 171. См. также: Ibid. P. 196–198.

²¹⁵ Ibid. P. 326.

РУССКИЙ СЕНТИМЕНТАЛИЗМ: ИСКРЕННИЕ ГРАЖДАНЕ ЦАРЯ

Язык сердца особенно проявил себя как опасный в революционной Франции; однако сентименталистский словарь, разумеется, оказал большое влияние и на другие дискурсы борьбы за свободу и демократизацию. Сегодня ученые сходятся на том, что сентиментальная риторика сыграла важную прогрессивную роль, например, в британско-американских спорах XVIII века по вопросам рабства и аболиционизма²¹⁶.

В России конца XVIII века интеллектуалы, плененные и этими спорами, и масонскими идеалами, и наследием Руссо, также начали выражать недовольство социальным неравенством. Наряду с «благородными» чувствами они выступали за верховенство дорациональной (и искренней по сути) «человеческой природы» над такими модерными понятиями, как цивилизация и культура. Более того, русские сентименталисты сделались адептами общеевропейского культа саморефлексии, в котором чувствительность и сопереживание ближнему рассматривались как норма²¹⁷. Исследователи показали, что эти категории – чувствительность и сопереживание – не были лишены внутренних противоречий. На практике сентименталистская «нечаянность» выражалась в четко предписанных ритуалах; установка на домашний уют тесно сочеталась с замечательным чутьем на моду и социальный этикет. Можно было сколько угодно воспевать семейный очаг, но при этом следовало выглядеть максимально красиво и в соответствии с образцом²¹⁸.

Парадоксальное расхождение спонтанно-личного, с одной стороны, и социокультурного этикета – с другой, не уменьшало тем не менее влияние нового типа общественного сознания. Оно также не помешало сентименталистски настроенным авторам полностью преобразовать словарь русского языка. До тех пор язык не был приспособлен к выражению эмоций отдельных индивидуумов, однако в результате сентименталистского поворота для этого появилось много новых слов. Кроме того, многие уже существовавшие понятия были переосмыслены и пересмотрены с позиций нового взгляда на мир. Среди этих переосмысленных понятий важнейшее место занимала «искренность».

Прежде чем оставить XVIII столетие, я хотела бы более пристально рассмотреть эту модификацию понятия «искренность», поскольку она имела фундаментальное значение для посткоммунистической России. Как мы видели, само слово вошло в русский язык задолго до возникновения в России сентиментализма. В ранних словоупотреблениях оно относилось по преимуществу к религиозным или семейным отношениям²¹⁹, хотя иногда попадало в политические контексты. Один текст времен Московской Руси, например, указывал, что боярин – это «искръный <т. е. ближний>» царя²²⁰. Михаил Ломоносов в своей оде Петру Великому

²¹⁶ Carey B. *British Abolitionism and the Rhetoric of Sensibility: Writing, Sentiment, and Slavery, 1760–1807*. London: Palgrave Macmillan, 2005.

²¹⁷ Андрей Зорин красноречиво (и, как мне кажется, точно) называет свойственную русскому сентиментализму культуру чувств «панъевропейским сообществом чувствительных сердец» (Зорин А. Импорт чувств: к истории эмоциональной европеизации русского дворянства // Плампер Я., Шахадат Ш., Эли М. (ред.) *Российская империя чувств: подходы к культурной истории эмоций*: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 117–131).

²¹⁸ О механизмах самоконтроля, которые структурировали российскую риторику эмоций начиная с XVII века, см.: Kelly K. *Право на эмоции*; см. также: Kelly C. *Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin*. Oxford: Oxford University Press, 2001. О тесных взаимоотношениях между сентименталистской культурой личных чувств и ее стремлением к искренности и общественной прозрачности см.: Schönle A. *The Scare of the Self: Sentimentalism, Privacy, and Private Life in Russian Culture, 1780–1820* // *Slavic Review*. 1998. № 57 (4). P. 723–746.

²¹⁹ Конкретные примеры см.: Срезневский И. (ред.) *Материалы для словаря древнерусского языка*; Бархударов С. (ред.) *Словарь русского языка XI–XVII вв.*

²²⁰ Срезневский И. (ред.) *Материалы для словаря древнерусского языка*; Бархударов С. (ред.) *Словарь русского языка XI–*

создавал связующее звено между искренностью и политической властью, воспевая «искреннюю любовь» россиянам к своему государю²²¹. У Ломоносова понятие «искренность» отмечено как позитивное, однако – и здесь мы сталкиваемся с семантическим переходом – не все современники поэта помещали термин в столь же положительно окрашенные семантические поля. В конце того же XVIII века стала заметна постепенная смена настроений российских литераторов и публицистов – от государственных к антигосударственным взглядам или, по крайней мере, к весьма критической позиции по отношению к власти²²². Эта смена настроений совпала с переосмыслением понятия «искренность» – переосмыслением, без которого невозможно представить как предреволюционный освободительный дискурс, так и (пост-)советскую риторику искренности.

Суть концептуальной перемены наглядно показывает знаменитая повесть Николая Карамзина «Бедная Лиза» (1792). Повествователь в этой краткой истории любви подчеркнуто приписывает искренность именно простым людям. В одной из самых цитируемых фраз русской литературы автор уверяет читателей, что «и крестьянки любить умеют»²²³. Как указала Катрина Келли, современники любили карамзинскую повесть не в последнюю очередь за ее риторику искренности и вызванный этим «демократизирующий» эффект: рассказ читался как критика самодержавия и как «новаторский манифест искренних чувств», пропагандировавший равноправие всех русских в области эмоций²²⁴. (Позднее, в повести «Моя исповедь» (1802), Карамзин, правда, будет едко пародировать руссоистские идеалы эмоциональной прозрачности, однако эта социальная сатира привлечет куда меньшее внимание публики²²⁵.)

Сходным стремлением к новой, политически ангажированной концептуализации искренности отличается радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву». Травелог – жанр, который наряду с дневниками и письмами входил в число любимых сентименталистами форм как в России, так и за ее пределами. Все три литературные формы отличаются стилем, близким своей нарочитой «неприглаженностью» к манере написанного веком раньше «Жития протопопа Аввакума»; подобный стиль теперь служил признаком художественной и человеческой прямоты. Концептуальная связь между сознательной безыскусностью языка и искренностью предвещает стремление сегодняшних блогеров к несовершенному языку как гарантии подлинности – но к этой теме мы вернемся в четвертой главе. Сейчас для нас важно то, что «Путешествие» Радищева – самый, пожалуй, известный травелог в России – и озвучивало исторический протест против самодержавия и крепостничества, и закрепляло слово «искренность» на ментальной карте российской критической политической мысли. Искренность (точнее, ее отсутствие), по Радищеву, прямо обусловлена российскими социальными проблемами. С его точки зрения, не только царский режим не обладал этим качеством²²⁶, но и интеллекту-

XVII вв. Пример взят из «Паисиевского сборника», памятника конца XIV – начала XV века.

²²¹ См., например: *Ломоносов М. В.* Ода на прибытие из Голстинии и на день рождения великого князя Петра Феодоровича 1742 года февраля 10 дня // *Ломоносов М. В.* Избранные произведения (Библиотека поэта. Большая серия). Л.: Советский писатель, 1986. С. 81–84.

²²² Несмотря на появление многих новых работ, все еще сохраняет значение подробное исследование постепенного расхождения между интеллигенцией и государством в работе: *Riasanovsky N.* A Parting of Ways: Government and Educated Public in Russia 1801–1855. Oxford: Clarendon Press, 1976.

²²³ *Карамзин Н.* Сочинения: В 2 т. Т. 1. Л.: Художественная литература, 1984. С. 507.

²²⁴ *Келли К.* Право на эмоции. С. 53.

²²⁵ Интерпретацию «Моей исповеди» как текста, направленного одновременно и против «Эмиля», и против «Исповеди» Руссо, см.: *Лотман Ю.* Пути развития русской прозы 1800–1810-х годов // Ученые записки ТГУ. Вып. 104. Труды по русской и славянской филологии. № 4. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1961. С. 31. Критика лотмановской интерпретации этого текста как пародии дается в работе: *Канунова Ф.* Эволюция сентиментализма Карамзина («Моя исповедь») // *Лихачев Д. (ред.)* XVIII век. Сб. 7. Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры: к 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. М.: Наука, 1966. С. 286–290.

²²⁶ *Радищев А.* Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. М.: Наука, 1992. С. 81.

альная элита страдала от его недостатка²²⁷. Вторя французским революционерам, автор «Путешествия» приписывал искренность исключительно русскому народу, по преимуществу крестьянству²²⁸. В программном размышлении Радищев писал: «Если престол ее <власти> на искренности и истинной любви общего блага возник», то разве не должен он не наказывать, а любить своих «искренних» граждан?²²⁹

И у Радищева, и у Карамзина риторика искренности становится частью оппозиционности, как это постепенно происходило в Западной Европе. В отличие от провластной позиции Ломоносова – который связал искренность с действиями правительства – для первых это понятие оказывается маркером разрыва между государством и народом. Для Радищева именно слово «искренность» схватывает момент политического несогласия – так, по крайней мере, предполагает его неоднократное появление в радищевском травелоге. Наречие и прилагательное «искренне/искренний» автор повторяет девять раз, существительное «искренность» – четыре раза²³⁰. В 10 из этих 13 случаев это слово используется в отчетливо политическом контексте.

²²⁷ Там же. С. 73.

²²⁸ Там же. С. 21, 23, 25, 36, 60–61, 81.

²²⁹ Там же. С. 81.

²³⁰ Там же. С. 21, 23, 25, 36, 48, 55, 60–61, 73, 81.

ДОЛГИЙ XIX ВЕК: НОВЫЕ СМЫСЛЫ ИСКРЕННОСТИ

Радищев сумел найти место для искренности на социополитической карте России, французские республиканцы силой проводили в жизнь мечту об «искреннем» обществе, а между тем в конце XVIII века обнаружилось и другие семантические расщепления этого понятия.

Прежде всего, в это время возрождается характерное для ранней модерности «подозрение в неискренности» по отношению к новым технологиям. Подобно тому, как читатели эпохи Возрождения предпочитали печатным текстам рукописи, во времена романтизма реакцией на индустриализацию и урбанизацию стала идеализация «естественного» и неприятие всего городского и технологичного. Не случайно романтики – как художники, так и мыслители – воспринимали городскую жизнь и стандартизованное машинное производство как угрозу человеческой искренности. Конечно, не все романтики придерживались антитехнологической риторики, но она оказалась формообразующей для направления в целом. В таких канонических романтических текстах, как «Песочный человек» Эрнста Гофмана (1816) и «Франкенштейн» Мэри Шелли (1818), подчеркнуто искренние герои настойчиво противопоставлялись бездушным машинам. Не случайно Джон Рёскин – один из ведущих художественных критиков позднеромантической эпохи – противопоставлял «отлаженную точность механизма» «человеческому разумению» и «свободомыслию»²³¹. Рёскин, для которого «величайшее искусство изображает свой предмет с абсолютной искренностью»²³², выстраивал жесткую оппозицию между индустриализированным совершенством и человеческим творчеством в своем знаменитом изречении: «Запретить несовершенство – значит погубить выразительность... парализовать биение жизни»²³³.

Как у Рёскина, так и у многих других процесс индустриализации вызывал повышенный интерес к искренности, соотносившейся со всем необработанным, доиндустриальным, небезупречным. Это не единственная перемена в риторике искренности, которую породили в то время технические новации. Рост урбанизации и растущая социальная мобильность способствовали, по словам историка культуры Карен Халтунен, возникновению «культы искренности» в среде городского среднего класса. Халтунен исследовала проявление подобного культа в американской общественной жизни середины XIX века. По ее словам, «по мере того, как крупные города постепенно вытесняли городки и поселки в качестве доминирующей формы социальной организации... отчуждение между людьми становилось скорее правилом, чем исключением» и многочисленные публикации о социальном этикете возвели искренность в ранг панацеи, решающей «проблемы лицемерия в мире полном чужих людей»²³⁴. Их призывы были услышаны: в Америке середины XIX века мода, социальное поведение и литература оказались буквально зачарованы искренностью как эстетическим и моральным идеалом. Европа урбанизовалась с не меньшей скоростью, и там так же широко распространялись схожие настроения. Весьма показательно, что в середине столетия датский философ Сёрен Кьеркегор обосновал, как выразился один исследователь, «принцип „человеческой искренности“» как основание «новой религии»²³⁵.

²³¹ Цит. по: *Guy J. M. (ed.) The Victorian Age: An Anthology of Sources and Documents*. London: Routledge, 1998. P. 333–334.

²³² *Ruskin J. The Laws of Fésolo: Principles of Drawing & Painting from the Tuscan Masters*. New York: Allworth, 1996 (<http://www.victorianweb.org/authors/ruskin/atheories/1.3.html>).

²³³ Цит. по: *Back J. L. The Broadview Anthology of British Literature*. Vol. 5: The Victorian Era. Toronto: Broadview, 2006. P. 429.

²³⁴ *Halttunen K. Confidence Men and Painted Women: A Study of Middle-Class Culture in America, 1830–1870*. New Haven: Yale University Press, 1982. P. 34–35.

²³⁵ *Heckel Th. Werke*. Bd. 1. Zurich: Thomas, 1947. S. 573.

В ту же эпоху европейские понятия об искренности претерпели еще одно семантическое «приращение». Вслед за институционализацией прав собственности, демократизацией меценатства и развитием литературного рынка конец XVIII века ознаменовался коммерциализацией литературы, когда писатели стали превращаться в знаменитостей, а их произведения – в товар. Эти институциональные изменения вызвали оживленные споры о неподкупности и искренности творца²³⁶. Люди озаботились вопросом: если писатель намерен продать свое сочинение, то совместимо ли это с желанием чистосердечного самовыражения? С течением времени проблема «тиражи или искренность?» превратилась в своего рода общее место. Широко известны высказывания французского поэта Поля Верлена, который в письмах и автобиографических заметках выставлял себя циником, создающим душещипательные произведения исключительно ради денег. Однажды поэт язвительно поведал, как сочинял книгу патриотических стихов, которые должны быть «очень милыми и очень трогательными... очень наивными, разумеется, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы показать себя до абсурдности искренним»²³⁷.

Верленовское отношение к «продажности» литературы предвещает современную художественную критику, которая, как я покажу ниже, упорно размышляет о стратегических преимуществах искренности. Но пародия Верлена доводит до предела еще одну грань свойственной XIX веку риторике искренности. Речь идет о фундаментальной проблематизации самого этого понятия. С самого начала, как мы видели, рассуждения об искренности вызывали определенные подозрения, но именно начиная с эпохи высокого романтизма самокритичное, ироническое отношение к этому понятию сделалось литературным и философским лейтмотивом. Даже среди ранних романтиков не все безоговорочно идеализировали искренность. Некоторые видели и оборотную сторону медали. Для них искренность трансформировалась из идеала, к которому следовало всеми силами стремиться, в морально неоднозначную утопию²³⁸. По мере того как романтическая ирония становилась нормой для творческой элиты, искренность начала осознаваться как нечто в принципе недостижимое, и с течением времени литературу стали заполнять почти кокетливые заявления авторов о своей *неискренности*. «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек» – так Достоевский в знаменитых первых строчках «Записок из подполья» (1864) представляет своего героя. «Записки» изображают человечество в крайне мрачных тонах. Но они не уникальны: у Достоевского и его современников постоянно встречаются представления о личности, чувствующей безнадежную раздвоенность между «истинным я» и холодным разумом, которое постоянно занято анализом «искренного» начала и потому не дает ему свободно действовать.

Таким образом, искренность оказалась весьма проблематичным концептом в тогдашних литературно-философских спорах. В других дискурсах она сохранила более устойчивый смысловой стержень. Я описывала выше, как в XVIII столетии искренность выдвигалась в качестве позитивного элемента бинарной оппозиции, противопоставлявшей «добродетельную Англию» «продажной Франции» или «лицемерного двора и аристократии» «честному» народу. В XIX и начале XX века эта тенденция – приписывать искренность либо исключительно своему собственному государству, либо непривилегированным социальным группам – консолидировалась в националистической и популистской риторике. В конце XIX века немецкие националисты поставили стереотип имманентной «немецкой искренности» на службу национальному строительству (стереотип, который спародирует Ницше, когда напишет, что «немец любит „откровенность“ и „прямодушие“: как *удобно* быть откровенным и прямодушным!.. Немец...

²³⁶ См. также: *Rosenbaum S. Professing Sincerity*. P. 8.

²³⁷ Цит. по: *Peyre H. Literature and Sincerity*. P. 158 («Très doux, très douchant... Très naïf, bien entendu, et je ferai tout mon possible pour être absurdement sincère» – *Verlaine P. Correspondance: publiée sur les manuscrits originaux*. T. 3. Paris: Albert Messein, 1929. P. 104–105 (<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9763358b>)).

²³⁸ См. об этой перемене также: *Ibid.* P. 47.

смотрит на все своими честными, голубыми, ничего не выражающими немецкими глазами – и иностранцы тотчас же смешивают его с его домашним халатом!»²³⁹). Похожим образом – хотя уже в рамках не националистической, а скорее популистской риторики – Маркс и Энгельс указывали на преимущества рабочего класса над «лицемерной» буржуазией²⁴⁰, а французские философы XIX – начала XX века идеализировали *sincérité* как священный долг французской демократии²⁴¹. «Если обаяние старого режима состояло в вежливости, – категорично заявлял французский драматург Эрнест Легуве в 1878 году, – то долг демократии – быть искренней»²⁴².

Манера связывать понятие искренности с конкретными государствами, социальными группами или политическими системами; глубокий скепсис по отношению к самому этому термину; признание того, что искренностью можно манипулировать, используя ее как стратегический прием; культ искренности как реакция на технический прогресс – именно в этих новых контекстах фигурировало данное понятие в течение XIX столетия. Без них современное представление об искренности немислимо. На предыдущих страницах я вкратце изложила историю этих изменений в Западной Европе и Америке – однако связанная с этим термином рефлексия прошла через ряд радикальных перемен и в России XIX века. К этим переменам мы теперь и обратимся.

²³⁹ Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 5. М.: Культурная революция, 2012. С. 173–174. Об этой тенденции см.: *Stöckmann I.* Bismarcks Antlitz.

²⁴⁰ Так, например, в «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс объявили, что социализм «разоблачил лицемерную апологетику экономистов», и назвали буржуазный брак «лицемерно-прикрытой общностью жен». Что касается пролетариата, то ему, напротив, приписывались такие ассоциирующиеся с искренностью качества, как *детскость* (буржуазия «порождает пролетариат», и авторы неоднократно пишут про «рост» и «развитие» пролетариата) и «неразвитость» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест Коммунистической партии. М.: Политиздат, 1974. С. 50, 44, 56).

²⁴¹ См.: *Bergeron K.* Melody and Monotone: Performing Sincerity in Republican France // *Bal M., Smith C., van Alphen E.* (eds) *The Rhetoric of Sincerity.* Stanford: Stanford University Press, 2009. P. 44–60 (см. в особенности раздел «Республиканская искренность» на P. 57–58).

²⁴² Цит. по: *Ibid.* P. 58 (Берджерон цитирует драматурга по: *Nord Ph.* *The Republican Moment: Struggles for Democracy in Nineteenth-Century France.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. P. 230).

ДОЛГИЙ XIX ВЕК: РОССИЯ

Лайонел Триллинг в своем классическом исследовании искренности и подлинности указывает на принципиальную разницу между английскими понятиями «sincerity» (искренность) и «authenticity» (подлинность, аутентичность). По его словам, если *sincerity* имеет «общественный ориентир», то *authenticity* относится не к внешней коммуникации, а к направленному внутрь самовыражению. Триллинг считает, что *authenticity* в гораздо большей степени, чем *sincerity*, вмещает «все то, что культура, как правило, осуждает и от чего стремится избавиться... например, беспорядок, насилие, безрассудство»²⁴³. По его убеждению, с течением времени этот более инклюзивный идеал постепенно вытеснил социальный идеал искренности²⁴⁴.

Выдвигая свои идеи о *sincerity* и *authenticity*, Триллинг имел в виду западные культуры. Как связаны и как взаимодействуют между собой те же понятия в России: ответ на этот вопрос показался вполне ясным Светлане Бойм, которая была уверена, что в русском языке просто нет слова, соответствующего понятию «authenticity»²⁴⁵. Я не могу полностью с этим согласиться: в наше время английское слово «authenticity» обычно переводится либо как «подлинность», либо как «аутентичность», и сама Бойм в другом месте обсуждает русские представления о подлинности (хотя совершенно верно указывает, что в российском контексте подлинность соотносится прежде всего с юридической аутентичностью и с категорией авторства)²⁴⁶. В то же время, по моим наблюдениям, в России понятие подлинности (как я буду переводить этот термин здесь) не имеет того привилегированного культурного статуса, который оно постепенно обрело в некоторых других культурах. Скорее наоборот: чем дальше, тем крепче в публичном российском дискурсе укореняется понятие «искренность».

Каковы корни этой действующей до сих пор в России установки на искренность? Чтобы дать полный ответ на этот вопрос, следует прежде всего обратиться к послесталинской России – месту и времени, о которых пойдет речь в конце данной главы. Однако популярность понятия «искренность» восходит и к более отдаленным временам. Его нельзя отделить от берущей начало в XVIII веке тенденции концептуализировать российскую национальную идентичность преимущественно в негативных терминах, как «Другого» по отношению к Западу²⁴⁷. В традиции, где без конца подчеркивается культурное превосходство по отношению к внешней силе, более склонны лелеять идеалы (адресно ориентированной и морально нормативной) искренности, а не подлинности (которую можно вслед за Триллингом охарактеризовать как понятие, направленное по большей части «вовнутрь» и толерантное к социальной трансгрессии).

Неудивительно, что в России приписывание искренности исключительно собственному государству или народу не ограничилось сравнительно краткой фазой рождения нации, как это было в случае противопоставления националистами британской искренности всему французскому. С конца XVIII века и до наших дней приписывание искренности России или русскому народу (и, соответственно, лицемерия – Западу) оставалось мощным культурным клише. На протяжении XIX века его можно легко опознать в риторике самых разных интеллектуальных кругов. В первые десятилетия того столетия – здесь я снова цитирую Бойм – российские интеллектуалы с готовностью противопоставляли «проблему вкуса, трактуемую как знак европеиза-

²⁴³ Trilling L. Sincerity and Authenticity. P. 11.

²⁴⁴ Ibid. P. 9ff.

²⁴⁵ Boym S. Common Places. P. 96.

²⁴⁶ Boym S. Common Places. P. 99.

²⁴⁷ См. об этой тенденции среди прочего: Groys B. Die Erfindung Russlands. München: Carl Hanser, 1995. По отношению к той же тенденции в современной русской культуре ср. предложенное социологом Львом Гудковым понятие «негативной идентичности»: Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2004.

ции и поверхностной цивилизованности», заведомо русской «истинной духовности, куда более важной, чем наносная вежливость иностранцев»²⁴⁸. Несколько позднее – примерно в 1830–1860-х годах – косервативные мыслители из числа славянофилов неустанно указывали на противостоящую лицемерному Западу русскую искренность. В ту же эпоху радикальная интеллигенция культивировала антинормативную модель поведения, в которой, по словам Катрины Келли, «полностью отвергались изысканность и вежливость... и усердно культивировались простая жизнь и искренность»²⁴⁹. Ко второй половине века оппозиция «российская искренность / европейская фальшь» превратилась в такое клише, что стала предметом открытого пародирования в литературе²⁵⁰.

Однако превращение «российской искренности» в избитый культурный стереотип не смогло удержать Льва Толстого от попытки ее реанимировать в самом конце века. Трактат «Что такое искусство?» (1896) Толстой создал уже в весьма зрелые годы, когда с почти маниакальным рвением проповедовал христианские и крестьянские идеалы. В нем он приводит свой знаменитый аргумент о том, что «заразительность искусства» – способность произведения трогать душу реципиента – зависит в первую очередь от «искренности художника, то есть большей или меньшей силы, с которой художник сам испытывает чувство, которое передает»²⁵¹. Геополитический контекст, в котором Толстой представлял себе ту художественную искренность, менее известен. В том же трактате он убеждал читателей: отвернувшиеся от религии «европейские» художники Верлен и Бодлер «совершенно лишены наивности, искренности и простоты» и «преисполнены искусственности, оригинальничанья», а европейское искусство в целом «перестало быть искренно, а стало выдуманно и рассудочно»²⁵². Западная Европа, таким образом, превратилась в прибежище «распущенности»²⁵³. Культурным пространством, сохранившим потенциал для создания искреннего искусства, по Толстому, осталась – кто бы мог подумать! – его отчизна.

Сходным образом и в тот же самый период нигилисты конструировали искренность как нечто, отличающее их российских соратников от близких им по взглядам западноевропейских радикалов. Анархист Петр Кропоткин в «Записках революционера» (1899) утверждал: «Нигилизм... придает многим нашим писателям их искренний характер, их манеру „мыслить вслух“, которые так поражают европейских читателей»²⁵⁴.

Одним словом, на протяжении XIX века политические мыслители, философы и писатели стремились осмыслить «искренность» как исключительно российское достижение. В примерах, которые я привела, это делалось эксплицитно. Та же тенденция звучала и имплицитно – хотя при этом не менее мощно – в риторике, соединявшей два лейтмотива романтизма: прославление народа как носителя национальной сущности и возвеличивание женщины как воплощения национального идеала²⁵⁵. Современные писатели и философы убежденно противопоставляли интеллигенцию как вестернизированное, урбанизированное, внутренне расколотое мужское начало подлинно русскому, крестьянскому, нравственно «цельному» женскому

²⁴⁸ *Boym S. Common Places. P. 98.*

²⁴⁹ *Kelly C. Refining Russia. P. 104.* Об «антиповедении» русских радикалов см. также: *Paperno I. Chernyshevsky and the Age of Realism: A Study in the Semiotics of Behavior. Stanford: Stanford University Press, 1988.*

²⁵⁰ *Kelly C. Refining Russia. P. 145–146.*

²⁵¹ *Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 15. М.: Художественная литература, 1983. С. 165.*

²⁵² Там же. С. 99, 115.

²⁵³ Там же. С. 115.

²⁵⁴ *Кропоткин П. Записки революционера. М.: Московский рабочий, 1988. С. 283.*

²⁵⁵ Джордж Мосс отмечает «романтическую тенденцию видеть неведомое и вечное в реально существующих вещах», вследствие чего «красивая женщина... представляет как романтическую утопию, так и национальный идеал» (*Mosse G. Nationalism and Sexuality: Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe. New York: Howard Fertig, 1985. P. 99*). Две эти категории смешиваются, когда писатели и мыслители XIX века представляют «народ» в качестве женского начала или видят его воплощение в какой-то конкретной женщине.

началу²⁵⁶. Историк Алексей Макушинский предложил набор оппозиций, которые эта дискурсивная традиция противопоставляет друг другу:

мужское

город

Петербург

интеллект

рефлексия

разум

двойственность

европейское

культура

образованное сословие

беспочвенность

женское

деревня (земля)

Москва

душа

интуиция

вера

цельность

автохтонное

природа

народ

укорененность¹

¹ Макушинский А. Отвергнутый жених. С. 37.

Понятное дело, что элементы каждого из этих двух списков в сознании человека XIX века концептуально сливались. В определенной степени город в то время и *был* мужским началом, а Россия действительно *воплощала* интуицию.

Мои исследования интеллектуальной истории XIX века указывают на то, что список Макушинского следует дополнить по крайней мере еще одной парой²⁵⁷:

лицемерие

искренность

Чтобы понять, почему это так, достаточно вспомнить классические русские романы. Начиная с «Евгения Онегина» и до романа «Отцы и дети» лучшие образцы русской прозы демонстрируют одну и ту же сюжетную схему, в которой варьируется мотив любовного столк-

²⁵⁶ Эти риторические тенденции романтической мысли были распространены повсеместно (см., например: Böröcz J., Verdery K. Gender and Nation // East European Politics and Societies. 1994. № 8 (2). P. 223–316; Yuval-Davis N. Gender and Nation. London: Sage, 1997; Mayer T. (ed.) Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation. London: Routledge, 2000), однако в России они выразились особенно явно. Более подробно см.: Brouwer S. The Bridegroom Who Did Not Come: Social and Amorous Unproductivity from Pushkin to the Silver Age // Andrew J., Reids R. (eds) Two Hundred Years of Pushkin. Vol. 1: «Pushkin's Secret»: Russian Writers Reread and Rewrite Pushkin. Amsterdam: Rodopi, 2003. P. 49–65; Rutten E. Unattainable Bride Russia: Engendering Nation, State, and Intelligentsia in Russian Intellectual Culture. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2010 (глава 1); Макушинский А. Отвергнутый жених, или основной миф русской литературы XIX века // Вопросы философии. 2003. № 7. С. 35–43. См. также краткое, но влиятельное суждение о той же тенденции в работе: Лотман Ю. Сюжетное пространство в русском романе XIX столетия // Лотман Ю. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллин: Александра, 1993. С. 91–106.

²⁵⁷ См. (слово «искренность» я в нем не упоминаю): Rutten E. Unattainable Bride Russia. С. 38–41.

новения эгоистичного, светского, вестернизированного героя с гипертрофированно русской, «народной» и безоглядно искренней и порывистой героиней²⁵⁸. Читатели Тургенева, например, встречают множество русских героинь с «искренним и правдивым» выражением лица (Вера в «Фаусте»), «искренней душой» (Наталья в «Рудине») или невинностью «искренного дитя» («Ася»)²⁵⁹. Что касается гамлетизированных героев, с которыми сталкиваются эти честные создания, то они, напротив, страдают от слишком развитого самосознания; их главное качество – неискренность²⁶⁰. Главный герой романа «Рудин» слышит в свой адрес симптоматичную критику: «Что вам кажется искренним, нам кажется навязчивым и нескромным... где же нам понять вас?»²⁶¹

В другой книге я показала, что господствовавшие в тургеневском мире чувства были типичны для литературы середины и конца XIX столетия²⁶². Сходные чувства резонировали и вне мира литературы. Историк Юлия Сафронова показала, что в спорах, разгоревшихся после убийства царя Александра II, искренний русский народ противопоставлялся неискренней культурной элите. Так же как английские националисты противопоставляли «английское – искреннее – благое» всему «офранцузенному – неискреннему – продажному», участники этих споров постоянно прибегали к антитезе «русское – искреннее – хорошее» versus «запад(н)ическое – лицемерное – дурное»²⁶³.

Между дебатами об убийстве царя и социополитическими метафорами русского романа имелось много общего. Те и другие отчасти воспроизводили традиционный националистический дискурс, но в то же время отличались от классической националистической риторики в одном важном отношении. Если националисты обычно отождествляли самих себя с позитивным полюсом оппозиции, то российские интеллектуалы чем дальше, тем больше относили *свою собственную* социальную группу (наряду с властью) к «неискренней» части спектра. Их интеллектуальный дискурс был пронизан чувством вины и критической авторефлексией; он строился вокруг понятий социального бессилия и неспособности дворянства и интеллигенции выполнить свой долг по отношению к «народу»²⁶⁴. В этом дискурсе интеллектуалы лишали самих себя права называться искренними. Там, где традиционалисты, как правило, лично отождествляли себя со своими «искренними» идеалами, русские интеллигенты неизменно приписывали искренность стереотипному *Другому*, будь то женщина, идеализированный русский народ или их совокупность.

Грубо говоря, в конце XVIII и в XIX веке российская интеллектуальная элита расписалась в собственной лицемерии. Неудивительно, что русские интеллигенты с готовностью восприняли романтическую установку на проблематизацию искренности. Прежде всего они задались вопросом о том, как измерить искренность художника в условиях коммерциализации творчества²⁶⁵. Как мы уже видели, в то время эта проблема волновала культурное сообщество

²⁵⁸ О систематических повторах этой сюжетной схемы см. также: *Brouwer S. The Bridegroom Who Did Not Come.*

²⁵⁹ *Тургенев И.* Полн. собр. соч.: В 28 т. М.: Наука, 1960–1968. Т. 6. С. 339; Т. 7. С. 15, 113, 184.

²⁶⁰ Там же. Т. 6. С. 316. О противопоставлении «литературных», «эстетизированных» героев – «тургеневской» героине см.: *Дуккоп А.* Проблема «литературности» и «оригинальности» в произведениях Тургенева 1850-х годов // *Маркович В. М. (ред.)* Международная конференция «Пушкин и Тургенев». СПб.; Орел, 1998. С. 41–42; *Маркович В. М.* «Русский европеец в прозе Тургенева» // *Thiergen P. (ed.) Ivan S. Turgenev: Leben, Werk und Wirkung. Beiträge der Internationalen Fachkonferenz aus Anlass des 175. Geburtstages an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. München: Sagner, 1995. P. 79–96.*

²⁶¹ *Тургенев И.* Указ. соч. Т. 6. С. 316.

²⁶² *Rutten E. Unattainable Bride Russia.*

²⁶³ *Сафронова Ю.* Смерть государя // *Плампер Я., Шахадат Ш., Эли М. (ред.)* Российская империя чувств: подходы к культурной истории эмоций: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 166–184.

²⁶⁴ Среди многих других см. об этом общественном дискурсе: *Riasanovsky N. A Parting of Ways: Government and Educated Public in Russia 1801–1855.* Oxford: Clarendon Press, 1976. О множественности социальных групп, участвовавших в подобных дискуссиях, см.: *Kimerling Wirtschafter E. Social Identity in Imperial Russia.* DeKalb: Northern Illinois University Press, 1997.

²⁶⁵ О влиянии литературной коммерциализации на творчество и самовосприятие российских авторов XIX века см.: *Greenleaf M., Moeller-Sally S. (eds) Russian Subjects: Empire, Nation, and the Culture of the Golden Age.* Evanston, Ill.: Northwestern

повсюду, что представляло собой прямую реакцию на профессионализацию в области литературы и искусства. В России сомнения в искренности стали лейтмотивом размышлений о творчестве знаменитейшего из поэтов-классицистов – Гавриила Державина. Историк литературы Иоахим Клейн показал, что знаменитый придворный одописец неоднократно был вынужден отвечать на обвинения в политической лести. Державин при этом «настаивал... на фактической правде своих панегириков и чистоте своих побуждений»²⁶⁶. Настаивая на своей невинности, указывает Клейн, поэт следовал присущему эпохе Просвещения «культу искренности», который подпитывался сочинениями испанского Бальтасара Грасиана. Этические наставления знаменитого философа-иезуита тонко регулировали поведенческие нормы тогдашней придворной жизни. Грасиан советовал своим читателям «не слыть человеком с хитрецей – хоть ныне без нее не проживешь. Слыви лучше осторожным, нежели хитрым. Искренность всем приятна, хотя каждому угодна вчуже. Будь с виду простодушен, но не простоват, пронизателен, но не хитер. Лучше, чтоб тебя почитали как человека благоразумного, нежели опасались как двуличного»²⁶⁷.

Взгляды Грасиана на общественное поведение нашли горячих сторонников в России, и Державин был одним из них²⁶⁸. В своих одах и критических заметках поэт исповедовал искренность, пронизанную социальным беспокойством. Вопрос, особенно сильно волновавший Державина: может ли поэт быть выразителем истины, не запятнавшем себя лживой лестью? Клейн отмечает, что озабоченность Державина этой проблемой была не случайна. В условиях укрепляющейся взаимной зависимости между литературной и придворной жизнью, а также нарастающей коммодификации литературы одописцев конца XVIII века преследовало общественное недоверие. Реакция тогдашней публики предвещала именно те подозрения, которые в наши дни навлекают на себя такие авторы, как Владимир Сорокин: неужели писатели, подобно всем остальным людям, стремятся к коммерческой и социальной выгоде?

В России беспокойство перед лицом прагматической профессионализации искусства касалось далеко не только Державина. В литературной и художественной критике он замечен на протяжении всего XIX века. Кульминацией этой тенденции можно считать упоминавшийся выше трактат Толстого, в котором он резко нападает на «искусственное» искусство своего времени. С точки зрения Толстого, «как только искусство стало профессией, то значительно ослабилось и отчасти уничтожилось главное и драгоценнейшее свойство искусства – его искренность»²⁶⁹.

Помимо вопроса о коммерческой составляющей искусства, начиная с эпохи романтизма русские критики и литераторы пытались решить и более глубокую проблему художественной честности. С той же настойчивостью, что и их зарубежные коллеги, они размышляли о том, может ли вообще человек быть искренним? Не является ли иллюзией сама идея искреннего самовыражения, убеждение, что кто-то может откровенно поведать свои интимные чувства другим? Не случайно поэт Федор Тютчев еще в 1830 году в знаменитом стихотворении «Silentium!» предлагал полный отказ от «внешней» речи как единственно подходящую стратегию по отношению к сильным чувствам²⁷⁰.

University Press, 1998 (в особенности р. 14 и далее, а также глава 4 под названием «Вторжение модерности: публика и субъект», р. 275–347).

²⁶⁶ Klein J. Deržavin: Wahrheit und Aufrichtigkeit im Herrscherlob // Zeitschrift für Slavische Philologie. 2010. № 67 (1). P. 50.

²⁶⁷ Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон / Изд. подгот. Е. М. Лысенко и Л. Е. Пинский. М.: Наука, 1981 («Литературные памятники»). С. 49.

²⁶⁸ Klein J. Deržavin. P. 41. Клейн указывает, что сочинение Грасиана «El discreto» публиковалось по-русски трижды, начиная с 1741 года.

²⁶⁹ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 15. М.: Художественная литература, 1983. С. 138.

²⁷⁰ Тютчев Ф. Лирика: В 2 т. М.: Наука, 1966. Т. 1. С. 46.

Тютчев проблематизировал честное самораскрытие, но не уделял в своих стихах особого внимания понятию «искренность». Проблематизация этого понятия набирала силу постепенно. В первой половине века Пушкин сформулировал романтическую загадку разрыва между глубоко личными чувствами и их внешним выражением – однако для него само слово «искренность» еще не стало проблемой. Подобно Тютчеву, он использовал этот термин сравнительно редко и в основном в общепринятом положительном значении²⁷¹. Слово «искренность» не играло большой роли и в главном романе русского романтизма. В «Герое нашего времени» (1840–1841) Лермонтов употребляет это слово всего два раза, хотя, в отличие от Пушкина, он помещает его в более проблематичные контексты. Приводя ряд отрывков из дневника Печорина, повествователь объясняет: «Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление»²⁷².

В этом фрагменте Лермонтов уводит слово «искренность» в заведомо туманную сферу. В романе Печорин характеризуется как «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии»²⁷³ – так что для «героя нашего времени» искренность отсылает к верности отталкивающему и нарциссичному «я». Лермонтов наблюдает схожих тщеславных персонажей среди романтиков и за пределами России: он обвиняет в суетности даже отца французской риторики искренности Жана-Жака Руссо²⁷⁴.

Итак, Пушкин, Лермонтов и Тютчев проблематизировали искренность на концептуальном уровне, однако не выказали явного интереса к самому слову «искренность». В отличие от них русские писатели второй половины XIX века оказались словно бы заморожены этим словом. Оно стало занимать центральное место в самых разных дискурсивных контекстах. Это слово сделалось ключевым для сочинений российских радикалов и нигилистов – примеры чему я привела выше. И не только для них. Поэт и критик Аполлон Григорьев в статье «О правде и искренности в искусстве» (1856) попытался найти связующие звенья между искусством, этикой и самовыражением. Слово «искренность», включая его производные – прилагательные и наречия, использовалось автором этого небольшого текста 38 раз.

Подобно Пушкину и Тютчеву, Григорьев выдвигает искренность в качестве позитивной ценности – чего-то такого, что существует на самом деле и к чему художник должен стремиться. Искренность играла в равной мере центральную, но существенно меньшую роль немного позднее, в произведениях Достоевского. Частотные словари показывают, что на протяжении своего творчества ведущий представитель психологического реализма использовал слово «искренность» 104 раза; производные от него – прилагательные и наречия – встречаются у него почти 800 раз²⁷⁵. Причем со временем Достоевский обращался к этому слову все чаще²⁷⁶. Однако, в отличие от своих предшественников, он трактовал «искренность» как эмо-

²⁷¹ Эти наблюдения основаны на автоматизированном поиске слова «искренность» и его производных в стихах Тютчева и Пушкина. Возможно, исключение представляет «Евгений Онегин», где это слово звучит явно иронически, когда Пушкин вкладывает его в уста самого знаменитого в русской литературе «эстета»: отвергая любовь Татьяны, Евгений заявляет влюбленной девушке: «Мне ваша искренность мила; / Она в волнение привела / Давно умолкнувшие чувства» (гл. IV, строфа 12). О слове «искренность» у Пушкина см. также: *Вишгородов В. (ред.) Словарь языка Пушкина: В 4 т. М.: Азбуковник, 2000. Т. 2. С. 254.*

²⁷² *Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1958. С. 55.*

²⁷³ Там же. С. 8.

²⁷⁴ Исповедь Руссо, с точки зрения повествователя, «имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям» (Там же. С. 55).

²⁷⁵ *Андрущенко В., Ребецкая Н., Шайкевич А. (ред.) Статистический словарь языка Достоевского. М.: Языки славянской культуры, 2003.*

²⁷⁶ Там же.

циональную категорию, столь же важную, сколь и ненадежную. В поздних текстах писатель был особенно склонен представлять ее как в высшей степени нестабильную категорию²⁷⁷. С нарастающим скептицизмом Достоевский задавался вопросом: способен ли в принципе человек к искреннему раскрытию себя? В романе «Бесы» (1872) искренность трактуется как вошедшая в поговорку трава, которая всегда зеленее на чужой стороне. Герои романа *хотят быть* или же *провоолашают* себя искренними, а в действительности очень далеки от этого идеала. Когда Петр Верховенский пытается объяснить, почему внезапно принялся исповедоваться перед Николаем Ставрогиным, его слова напоминают бессмысленную мантру: этот циник, который из всех героев книги меньше других заслуживает доверия, пять раз подряд утверждает, что говорит и действует «искренно»²⁷⁸.

Одним словом, для Достоевского существование такого явления, как «искренность», само по себе неочевидно. С его критическим отношением к этому понятию мы приближаемся к концу XIX века. К этому времени понятие «искренность» заняло заметное место в российском публичном дискурсе – не меньшее, а может, даже и большее, чем в других культурных контекстах. На протяжении XIX столетия, как мы видели, оно использовалось для проецирования различных идей (националистических, нигилистских, художественных, литературных) на Россию и «русский народ»; оно играло ведущую роль в обсуждении творческой неподкупности, коммодификации, урбанизации и технического прогресса; но со временем само существование искренности было поставлено под сомнение. Эти исторические дебаты об искренности весьма значимы для моего тезиса: они все еще дают себя знать в том, как в наше время ставятся вопросы о соотношении искренности с памятью, маркетингом и медиа. Однако, прежде чем обратиться к современности, нужно оценить ту эпоху, которая последовала за XIX веком. Проблематичность искренности, характерная для писателей XIX века, тогда вновь дала о себе знать в жарких публичных спорах о правде, обществе и человеке.

²⁷⁷ В своей публицистике Достоевский, как и другие, связывал искренность с социополитической и национальной проблемами, задаваясь вопросом, захочет ли образованное сословие «искренно признать народ своим братом по крови и духу» (Достоевский Ф. Собр. соч.: В 15 т. Т. 14. СПб.: Наука, 1995. С. 478). И здесь, и в других местах в своих статьях Достоевский воспринимает «искренность» как позитивное понятие.

²⁷⁸ Достоевский Ф. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 7. С. 211–212.

ЕВРОПА НАЧАЛА XX ВЕКА: «ЧТО ЕСТЬ ИСКРЕННОСТЬ?»

Образ Верховенского из романа Достоевского «Бесы» предвещает ситуацию конца XIX – начала XX века, когда интеллектуалы по всей Европе были, говоря словами Лайонела Триллинга, заняты по преимуществу «собой» и – что еще важнее – «теми преградами, которые мешают быть верным самому себе»²⁷⁹.

Да и могло ли быть иначе? В конце концов, начало века было временем, когда, как указывает историк Анна Фишзон, «рост таких медиа, как реклама и журналистика... способствовал распространению представлений о том, что языком и образами постоянно манипулируют, ставя под вопрос существование подлинности»²⁸⁰. В начале XX века мир с каждым днем становился все сложнее в технологическом отношении: фотография, кинематограф, звукозапись – все это перевернуло традиционное отношение к реалистической репрезентации. Наиболее заметный вклад в концептуализацию этих проблем внесло эссе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936). Как известно, с точки зрения Беньямина, техническое воспроизводство создает мир, в котором люди окружены предметами искусства, лишенными уникальной «ауры» оригинальности: «Все, что связано с подлинностью, недоступно технической... репродукции»²⁸¹.

Техническое воспроизводство также способствовало появлению культуры знаменитостей: иллюстрированные журналы и другие медиа изобиловали историями из жизни известных людей и их изображениями, порождая горячие споры о коммерческом успехе, аутентичном самовыражении и «дезинтеграции личности»²⁸². «Можно ли сказать, что художник А или Б действительно искренен, или же им движет простое желание сбыть побольше своей продукции?» – вот вопрос, который горячо обсуждали в то время, в особенности в России, где начало XX века совпало с появлением отечественного производства товаров массового спроса²⁸³.

Неудивительно, что проблема искренности оказалась существенной для формирования тогдашних взглядов на язык, искусство, архитектуру и дизайн. Черный квадрат Малевича, геометрические композиции Мондриана, лаконичные архитектурные формы Ле Корбюзье – все это имело своим истоком страстное желание авангардистов «производить искренность» (Борис Гройс). «Модернистское производство искренности, – считает этот теоретик искусства, – функционировало как редукция дизайна, и цель этой редукции состояла в создании пустого, вакуумного пространства посреди мира дизайна, в уничтожении дизайна, в использовании нулевого дизайна. Художественный авангард стремился к созданию зон, которые были бы свободны от дизайна и которые воспринимались бы как зоны честности, высокой морали, искренности и доверия»²⁸⁴.

«Уничтожение дизайна» не бесспорная формула, – но если мы будем следовать логике Гройса, то нетрудно убедиться в том, что прохладное отношение к дизайну, характерное для модернистов, связано с радикальными технологическими новациями того времени. В условиях, когда повседневную жизнь все больше наводняли стандартизированные технологии, про-

²⁷⁹ Trilling L. Sincerity and Authenticity. P. 7.

²⁸⁰ Fishzon A. The Operatics of Everyday Life, or, How Authenticity Was Defined in Late Imperial Russia // Slavic Review. 2011. № 70 (4). P. 800.

²⁸¹ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Пер. А. Ромашко. М.: Медиум, 1996. С. 20.

²⁸² Fishzon A. Op. cit. P. 800. О новоявленной «культуре звезд» см., кроме работы Фишзон: Dyer R. Stars. London: BFI, 1998.

²⁸³ West S. I Shop in Moscow: Advertising and the Creation of Consumer Culture in Late Tsarist Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2011.

²⁸⁴ Groys B. The Production of Sincerity // Groys B. Going Public. Berlin: Sternberg Press, 2010. P. 43.

изводители и потребители искусства встали на защиту всего неавтоматизированного и несконструированного как вершины человеческой искренности. Как на практике выглядело слияние нетехнологичности с искренностью в сознании людей, прекрасно иллюстрирует реакция российской публики на новорожденную звукозаписывающую индустрию. Появление механических записей породило «дискурс верного звука», сторонники которого активно обсуждали вопрос: сохраняют ли записи подлинную музыкальную интонацию того или иного исполнителя? По словам Фишзон, в конце имперского периода «критические обзоры записей... часто превращались в обсуждение способности исполнителя донести чувства „во всех нюансах“ и „искренне“. Прислушиваясь к записи голоса и пытаясь решить, насколько она близка к живому исполнению, насколько сохраняет истинную эмоциональную основу, авторы этих текстов разделяли с писавшими о знаменитостях журналистах озабоченность вопросами аффекта, реализма и присутствия»²⁸⁵.

В ответ на требование искреннего выражения во все более автоматизированном мире производители грамзаписей действовали почти так же, как издатели, которые в начале эпохи книгопечатания стилизовали шрифты под рукописные буквы. Они старались насколько возможно уменьшить поверхностный шум и другие акустические искажения, чтобы производить «записи, которые не казались медиатизированными»²⁸⁶.

Одно из проявлений авангардистского стремления к неавтоматизированной искренности – нулевой дизайн, другое – дизайн *несовершенный*. Для художника-авангардиста внешняя стилизация под безыскусность, псевдонеуклюжесть или примитивизм воспринималась как синоним искреннего творчества. Так, по крайней мере, говорят нам языковые и визуальные эксперименты поэтов и художников футуристского толка. Возьмем в качестве примера заумный язык Велимира Хлебникова и Алексея Крученых. Последний провозгласил, что заумь – это «поэтический язык, рожденный органически, а не искусственно» и сила его заключена в семантической неопределенности, то есть в том, что слова здесь лишены определенного значения²⁸⁷. Или посмотрим на обложки, сделанные для книг Крученых и других поэтов-футуристов художницей Наталией Гончаровой. Нарочито «неумелый» дизайн создает впечатление, будто обложки изготовлены полукустарным способом. Конечно, на самом деле они демонстрируют возможности новых печатных технологий; но художнику важно произвести эффект простотой «искренности» в противоположность эталонному техническому совершенству.

Футуристы были в то время далеко не единственными, кто связал искренность с отходом от искусственного и технического совершенства. Пока звукозаписывающие компании боролись с поверхностными шумами, Теодор Адорно продвигал диаметрально противоположную стратегию. В работе 1927 года он провозгласил – я приведу его суждения в изложении Фишзон, – что «сохранившиеся случайные шумы и другие несовершенства звука... парадоксальным образом заставляют записи звучать более человечно»²⁸⁸. Сами музыканты в поисках эффекта неприглаженности приходили к стилю, названному историком музыки Тедом Джойей «эстетикой несовершенства». Поклонник подобной эстетики отказывается от технического перфекционизма и «искренне старается быть творческим, толкая себя в области самовыражения, которыми его техника не может овладеть»²⁸⁹. Тот же риторический ход – восприятие несовершенства как приметы творческой искренности перед лицом технологической изоциренности – выдвигается на первый план теоретиками новых медиа и в наши дни.

²⁸⁵ Fishzon A. *The Operatics of Everyday Life*. P. 810.

²⁸⁶ Ibid.

²⁸⁷ Крученых А. Декларация заумного языка // Крученых А. К истории русского футуризма. Воспоминания и документы. М.: Гилея, 2006. С. 297.

²⁸⁸ Fishzon A. *The Operatics of Everyday Life*. P. 817.

²⁸⁹ Gioia T. *The Imperfect Art: Reflections on Jazz and Modern Culture*. Stanford: Portable Stanford, 1988. P. 68.

Таким образом, в культуре *fin de siècle* проблемы личного самовыражения вызывали острейший интерес у тех, кто занимался дизайном, изобразительным искусством и музыкой. Эти вопросы привлекали внимание авторов, работающих и в других областях. Например, литераторы говорили об искренности как в художественных произведениях, так и в массовой журналистике. Напряжение между конформистскими законами цивилизованного общества и примитивными инстинктами отдельного человека оказались в центре работы Фрейда «Неудовлетворенность культурой» (1929, опубликована в 1930), хотя основатель психоанализа не прибегал к понятиям искренности и лицемерия, чтобы объяснить это напряжение. Искренность занимала важное место и в сочинениях Оскара Уайльда. Вспомним его знаменитый афоризм, обнаруженный еще в 1891 году: «Искренность в небольших дозах опасна, а в больших – смертоносна»²⁹⁰. Примерно в то же время Уайльд вкладывал сходные провокативные мнения в уста своего насквозь порочного героя Дориана Грея, который предавался таким рассуждениям: «Разве притворство – такой уж великий грех? Вряд ли. Оно – только способ придать многообразию человеческой личности»²⁹¹.

Нетривиальный взгляд Уайльда на искренность вдохновлял многих других писателей. Так, португальский поэт Фернандо Пессоа явно вторил ему, когда признавался в 1931 году:

*Я хочу быть свободным и неискренним,
Без веры или долга места.
Даже любви я не хочу: она привязывает.
Не люби меня: я это ненавижу*²⁹².

Пессоа – лишь один из многих последователей Уайльда, и взгляды англичанина на исповедальность во многом сформировали современную риторику искренности. Однако к моей теме в наибольшей степени относится другое воздействие, которое оказало отношение Уайльда к искренности. Его идеи об искренности в качестве стратегического «метода», воздействующего на институт звезд и дискурсы медиатизации, – важнейшие источники для восприятия постсоветских авторов.

Уайльд выражал свое отрицание искреннего в художественном мотиве, важность которого в культуре начала XX века трудно преувеличить. Речь идет о мотиве маски, исключаяющей «открытое» и откровенное самовыражение²⁹³. Уайльд прямо заявлял, что предпочитает маски лицам (а искусство – жизни) в эссе «Истина масок. Заметки об иллюзии» (1891). Эссе завершается словами: «Правда в искусстве – это Правда, противоположность которой тоже истинна. <...> Истины метафизики – это истины масок»²⁹⁴.

Славистка Ирэн Мазинг-Делич в анализе мотива маски в поэзии Александра Блока отмечала сходную завороченность маскарадом в русской культуре начала XX века. По ее словам, маска была «условным символом <присущего русским писателям-символистам> *Weltanschauung*. . . Маска сама по себе представляла нечто явное (поверхность), но . . . через про-

²⁹⁰ Wilde O. Intentions (1891) (<https://www.gutenberg.org/files/887/887-h/887-h.htm>).

²⁹¹ Уайльд О. Портрет Дориана Грея / Пер. М. Е. Абкиной // Уайльд О. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Терра – Книжный клуб, 2003. С. 164.

²⁹² Pessoa F. I want to be free and insincere (20 August 1930) // Pessoa F. A Little Larger than the Entire Universe / Ed. and transl. by R. Zenith. London: Penguin, 2006. О родстве между Пессоа и проповедовавшим Уайльдом «искусстве лжи» см.: de Castro M. Oscar Wilde, Fernando Pessoa, and the Art of Lying // Portuguese Studies. 2006. № 22 (2). P. 219–249.

²⁹³ Об интересе культуры раннего XX века к теме маски см. среди прочего: Trilling L. Sincerity and Authenticity. P. 119–120. Ирэн Мазинг-Делич обсуждает важность этого мотива для русской литературной культуры того же периода в работе: Masing-Delic I. The Mask Motif in A. Blok's Poetry // Russian Literature. 1973. № 2 (3). P. 79–101; см. также раздел «Невесты, скрытые под вуалью» в моей книге: Rutten E. Unattainable Bride Russia (p. 74–77).

²⁹⁴ Уайльд О. Критик как художник / Пер. М. Кореневой // Уайльд О. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Терра – Книжный клуб, 2003. С. 217.

рези маски... можно было увидеть или только заподозрить присутствие „реального“ (глубины). Маска, таким образом, обманчива: „истина“ есть то, что за нею прячется»²⁹⁵. Русские символисты действительно подчеркивали платоновское различие между кажущимся и реальным, хотя не прибегали при этом к риторике искренности (Блок, например, очень редко использовал это слово в своих стихах)²⁹⁶.

Надо заметить, что в России начала XX века интерес к маскам и покровам проявляли не только символисты. Об этом свидетельствует «длинный ряд практик маскировки и срывания масок»²⁹⁷ в раннем советском дискурсе, к которому мы вскоре обратимся. К этому имели склонность и мыслители так называемого русского религиозного ренессанса, усилия которых были направлены на раскрытие истины и в особенности на осмысление понятия «искренность»²⁹⁸. Так, Иван Ильин в статье «Об искренности» (опубликована в 1943 году) стремился дать определение этого понятия и объяснить, как следует избегать лицемерия²⁹⁹. Проблема притворства волновала и Николая Бердяева. Свою «философскую автобиографию», названную «Самопознание» (первая публикация – 1949 год), он полностью посвятил «проблеме искренности» и ее историческому развитию³⁰⁰. Выражая свое несогласие с Руссо, Бердяев объяснял: «Моя тема совсем иная <чем в «Исповеди» Руссо>, и проблема искренности иначе ставится в отношении к этой теме. ...это не есть книга признаний, это книга осмысливания, познания смысла жизни. Мне иногда думается, что эту книгу я мог бы назвать „Мечта и действительность“, потому что этим определяется что-то основное для меня и для моей жизни, основной ее конфликт, конфликт с миром, связанный с большой силой воображения, вызыванием образа мира иного»³⁰¹.

Позиция Бердяева – признак важной концептуальной перемены. В первые десятилетия века российские мыслители и писатели продолжали романтическую традицию проблематизации искренности, однако их терминологический аппарат отличался от того, которым пользовались их предшественники. Как показывает цитата из Бердяева, они унаследовали присущую авторам XIX века бинарную логику, но их больше волновало расхождение между мирами «реальности» и «мечты», чем между «внутренним» и «внешним» «я». Таким образом, они умело вводили риторiku искренности в актуальную для начала века тематику личности, истинности и двойственности.

Итак, мы убедились, что *fin de siècle* был временем зачарованности «искусственными» технологиями, апологии «неискренности», маскарада, покровов и грез. В тот же период искренность по-прежнему приписывалась определенным социальным группам. В произведениях таких писателей-модернистов, как Вирджиния Вулф и Марсель Пруст, представители высших городских классов постоянно испытывают сложности с искренностью самовыражения. Столь же постоянно эти авторы приписывали искренность пространственно и социально периферийным контекстам³⁰². Характерна в этом отношении самая, пожалуй, известная геро-

²⁹⁵ Masing-Delic I. The Mask Motif in A. Blok's Poetry. P. 81.

²⁹⁶ С помощью онлайн-поисковиков я просмотрела собрание стихов Блока (на сайте <http://az.lib.ru>) и обнаружила только одно упоминание об искренности: «И прежней искренности нет» в стихотворении «Усталым душам вдруг сдается...» (1900; см.: http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0340.shtml).

²⁹⁷ Fitzpatrick Sh. Tear off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia. Princeton: Princeton University Press, 2005.

²⁹⁸ Rutten E. Unattainable Bride Russia. P. 99.

²⁹⁹ Ильин И. Поющее сердце. М.: Изд-во Православного братства св. ап. Иоанна Богослова, 2009.

³⁰⁰ Бердяев Н. Самопознание: опыт философской автобиографии. М.: Книга, 1991.

³⁰¹ Там же. Гл. 12.

³⁰² Искренность постоянно проблематизируется и предстает как добродетель, к которой стремятся, но которой редко обладают представители высших классов, например в романах Пруста из цикла «В поисках утраченного времени» и в романах Вирджинии Вулф «На маяк» и «Миссис Дэллоуэй». В этом можно легко убедиться с помощью поиска по ключевым сочетаниям букв «sinc» или «sincer» в онлайн-версиях этих текстов, выложенных Университетом Аделаиды по адресу: <http://>

иня нидерландской модернистской литературы: героиня романа нидерландского писателя Луи Куперуса «Элине Вере» (1889). Элине – девушка из зажиточной семьи – на короткий срок обретает первозданную «искренность» в обстановке идиллического поместья; в конечном итоге она гибнет, не выдержав давления городской жизни, которая есть «одно сплошное притворство!»³⁰³.

Куперус противопоставлял городское светское общество и деревенскую идиллию как предельно поляризованные социопространственные воплощения лицемерия и искренности. Иван Ильин отождествлял лицемерие и искренность с двумя другими противоположными категориями. В статье «Против России» он противопоставлял «среднего европейца», который «стыдится искренности», «русскому», который «ждет от человека прежде всего... искренности»³⁰⁴. Взгляды Ильина на присущую русскому народу искренность впервые были обнародованы не ранее 1948 года, однако они были характерны для неославянофильской тенденции, стремящейся к тому, чтобы – снова! – представить Россию (или «русский народ») и Запад (или вестернизированное Российское государство и интеллигенцию) через оппозицию искреннее *versus* неискреннее.

В этом обзоре специфичного для начала XX века отношения к искренности я ставила в один ряд как русские, так и зарубежные примеры. Однако с победой и укреплением большевистской власти российская риторика искренности стала приобретать особенный характер. Новой властью разрыв между интеллектуальной элитой и «простым человеком» был провозглашен преодоленным, и общественное внимание переключилось на новый, имевший жизненно важное значение вопрос: действительно ли советские граждане искренне поддерживают линию коммунистической партии? Историк Шейла Фицпатрик показала, насколько широко вопросы, связанные с исполнением социальных ролей и перформативностью, были распространены в раннесоветском дискурсе, строившемся вокруг жажды «разоблачить» и подвергнуть уничтожающей критике «двуличие» и «двурушничество»³⁰⁵. Ее коллега Алексей Тихомиров указывал на сходное явление: «Отношения доверия и недоверия – ключ к пониманию стабильности советского государства и его жизнеспособности»³⁰⁶. Тихомиров видит в советской политике «режим навязанного доверия», «основанный одновременно на удовлетворении основной человеческой потребности в доверии центральной власти (прежде всего партийным и государственным вождям) – и на поддержании высокого уровня общего недоверия»³⁰⁷.

Под властью того, что Тихомиров называет «режимом навязанного доверия», вопрос о том, кто искренен, а кто нет, очевидно, мог иметь жизненное значение, однако само понятие «искренность» не играет большой роли ни в его работах, ни в концепции Фицпатрик. Однако другой специалист по советской субъективности – историк Игал Халфин – показывает, что понятие искренности превращалось в своего рода «коммунистическую навязчивую идею»³⁰⁸. Халфин выделяет «искренность» как «конечное мерило» в автобиографиях коммунистов³⁰⁹. С его точки зрения, автобиографические признания советской эпохи имеют – почти как судебные разбирательства в революционной Франции – существенную церемониальную составляющую. «Обычно автобиография считается частным жанром, – пишет Халфин, – но она становится публичной из-за способа использования при подаче заявления на работу, кото-

ebooks.adelaide.edu.au/p/proust/marcel/p96d/ и <http://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91t/>.

³⁰³ Couperus L. Eline Vere. Amsterdam: Rainbow, 2006. P. 279, 449.

³⁰⁴ Ильин И. Против России (<http://tonos.ru/articles/greatpredict7#ilyin>).

³⁰⁵ Fitzpatrick Sh. Tear off the Masks!

³⁰⁶ Tikhomirov A. The Regime of Forced Trust: Making and Breaking Emotional Bonds between People and State in Soviet Russia, 1917–1941 // Slavic and East European Review. 2013. № 91 (1). P. 80.

³⁰⁷ Ibid.

³⁰⁸ Halfin I. Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. P. 271.

³⁰⁹ Ibid. P. 222.

рый предписывал ритуальную процедуру „рассмотрения“ автобиографии для оценки „сознательности“ подателя заявления. Любую самопрезентацию можно было всегда „разоблачить“ и объявить „неправдивой“»³¹⁰. Если Халфин прав, то советские чиновники, «рассматривавшие» автобиографии граждан, недалеко ушли от французских революционеров XVIII века: те и другие приравнивали неискренность к прямому преступлению.

Сходную озабоченность формализованным измерением искренности проявляла и доктрина социалистического реализма. Если в 1920-х годах рапповцы были убеждены, что «лозунг „искренности“ – первая маска буржуазного либерализма»³¹¹, то в 1930-х годах, с появлением социалистического реализма, этот концепт вновь оказался весьма востребован. Одной из важных задач этого художественного метода было установить: действительно ли тот или иной художник искренне предан официальной идеологии? Не случайно газета, первой сформулировавшая установки соцреализма, подчеркивала, что «массы требуют от художников *искренности*, революционного социалистического реализма в изображении пролетарской революции (курсив мой. – Э. Р.)»³¹².

Искренность, таким образом, увенчивала широкий комплекс положительных эмоций, необходимых для того, чтобы «цементировать систему», как сказано в недавней работе о функционировании эмоций в Советской России³¹³. Парадоксальным образом – обращаюсь к работе историка литературы Ирины Паперно – та же система, выдвинув на первый план искренность, неизбежно порождала «эмоциональную экономику двуличия, обмана и уклончивости, вызванную необходимостью скрывать свои чувства и мысли, (социальное) происхождение, национальность, круг знакомств»³¹⁴.

Иначе говоря, пока советская власть проповедовала тотальную искренность, привычка обманывать и скрывать свои подлинные чувства скоро стала второй натурой советских граждан. Эта склонность к двуличию не означала, однако, что режим воспитывал пассивных жертв навязанного эмоционального режима. Вопреки распространенному мнению, нельзя говорить и о монолитности соцреализма. Историки, изучавшие советские литературные журналы, дневники и личные документы, убедительно показали, что в конце 1930-х умеренные критики активно ратовали за то, чтобы в литературе было больше «лиризма», «подлинности» и «искренности»³¹⁵. Тем же историкам удалось доказать, что «советские люди» не просто скрывали свое непокорное «истинное лицо» за идеологически безукоризненным «общественным поведением», как считалось в более ранних исследованиях советской идентичности³¹⁶. В действительности граждане СССР активно выковывывали из себя советских людей. Искренне ли они поддерживали при этом партийную идеологию? Этот вопрос часто волновал самих граждан не меньше, чем партийное начальство. Как партийные, так и личные сомнения играли важную

³¹⁰ Ibid. P. 59.

³¹¹ Гельфанд М. Против буржуазного либерализма в художественной литературе. М., 1931. С. 14. Более подробное обсуждение риторики искренности в литературной жизни первых послереволюционных лет (и, в частности, литературных взглядов РАППа и «Перевала») см.: Ibid.

³¹² За работу! // Литературная газета. 1932. 29 мая.

³¹³ Делалой М. Эмоции в микромире Сталина: случай Николая Бухарина (1937–1938). Типы большевистской мужественности и практика эмоции // Плампер Я., Шахадат Ш., Эли М. (ред.) Российская империя чувств: подходы к культурной истории эмоций: Сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 450.

³¹⁴ Paperno I. *Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreams*. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 2009. P. 209.

³¹⁵ Clark K., Tihanov G. *Soviet Literary Theory in the 1930s: Battles over Genre and the Boundaries of Modernity* // Dobrenko E., Tihanov G. (eds) *A History of Russian Literary Theory and Criticism: The Soviet Age and Beyond*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011. P. 119.

³¹⁶ Помимо указанных выше работ Фицпатрик и Халфина (которые предлагают полезные поправки к традиционным представлениям о социалистическом реализме), особого внимания заслуживает работа: Hellbeck J. *Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006 (рус. перевод: Хелльбек Й. *Революция от первого лица*. М.: Новое литературное обозрение, 2018).

роль в советской истории искренности – истории, без которой современное понимание концепта было бы невысказано.

От проблематизации в сочинениях Уайльда и других деятелей рубежа веков до советской установки на искренность; от зачарованности российских философов мотивом маски до приверженности авангардистов несовершенству как выражению искренних человеческих чувств – все эти сюжеты говорят о том, что для начала XX века характерна амбивалентность желаний и страхов, относящихся к искренности. Люди той эпохи одновременно и желали быть искренними, и принимали как данность невозможность исполнения этого желания в эпоху роста медиализации, появления института знаменитостей, коммодификации и бурного развития технологий. С течением времени необходимость отказа от прямолинейного желания искренности будет только нарастать.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ: ДИСКОМФОРТ, ДЕКОНСТРУКЦИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Если в советском контексте искренность в середине XX века становилась эталоном правильного образа жизни, то для Западной Европы и США в ту же эпоху данный концепт превратился в активно обсуждающуюся культурологами проблему. Особенно актуальной эта проблема стала после Второй мировой войны. Отношения между (литературной) искренностью и коммерцией снова стали привлекать к себе повышенное внимание, и этот процесс снова, как и раньше, совпал с резкими институциональными переменами. Сюзен Розенбаум показала, что культ искренности в послевоенной Америке был обусловлен подъемом университетов, патронировавших поэзию, появлением крупных издательств и культом литературных знаменитостей³¹⁷

³¹⁷ *Rosenbaum S. Professing Sincerity. P. 5, 8.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.